БИБЛИОТЕКА ПИСАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ШКОЛ И ЮНОШЕСТВА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Е. Ф. НИКИТИНОЙ

КЛАССИКИ В МАРКСИСТСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

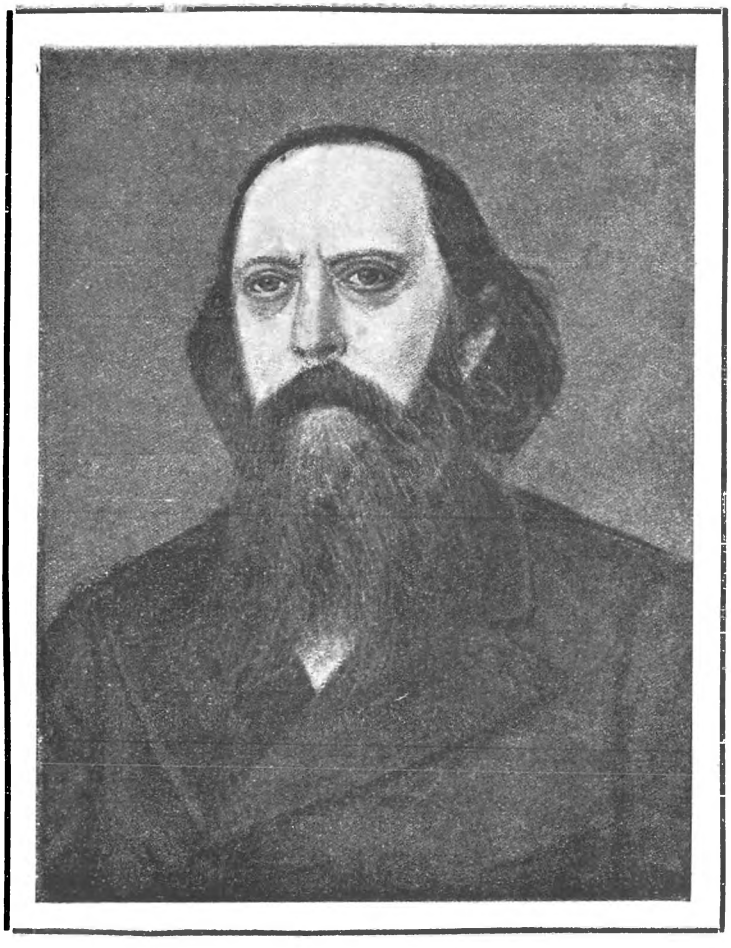
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ

ЕВГ. СОЛОВЬЕВ (АНДРЕЕВИЧ)

М. Е. Салтыков-Щедрин

1826—1889



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Помещая в самом начале сборника статью Соловьева—Андреевича, редакция считает необходимым сделать несколько замечаний.

Сборник ставит своей задачей собрать наиболее существенное из марксисткой критики, посвященной творчеству Салтыко-Щедрина, в одном томике с целью облегчить и учащимся и учащим правильный подход к произведениям и оценку места, занимаемого в истории русской литературы этим выдающимся и единственным в своем роде писателем.

В этом плане предлагаемая статья Евг. Соловьева (Андреевича) не может быть помещена без существенных оговорок, так как с точки зрения современного марксистско-ленинского литературознания эта статья значительно устарела и отражает весьма раннюю «молодость» марксистского литературоведения, делавшего тогда лишь первые свои шаги. К этой статье с большим успехом применимо то, что автор ее говорит по адресу произведений Салтыкова-Щедрина.

«Многое притом же в этой блестящей публицистике значительно устарело... и не всегда понятно современному читателю, а если и понятно, то далеко не в такой степени, как в дни написания: даже самая талантливая публицистика увядает очень скоро».

Этот процесс увядания «публицистики» наступает тем скорее, чем менее совершенно применен правильный научный метод и наоборот: чем правильнее и совершеннее применяется в «публицистике» (пользуясь терминологией автора) единственно научный-марксистский метод, тем все больше и больше времени литературная оценка сохраняет свою актуальность.

Евг. Соловьев (Андреевич) является одним из зачинателей (1866—1905) марксистской критики и далеко не свободен от

ряда идеалистических и народнических тенденций в своей литературно-критической работе.

Ввиде примера можно указать на недостаточное понимание автором Марксова учения о классах и классовой борьбе, недостаточное понимание классовой обусловленности моральных категорий. Поэтому классовые отношения нередко заменяются автором «всемогущей нравственной силой» (стр. 19, 23, 25), поэтому автор нередко склонен постулировать незыблемость «общечеловеческих» ценностей и т. д. Отсюда же и вырастает недиалектический подход к психологии «раба» и кулака (стр. 24, 26, 27) например: «А раб есть раб, он не может быть правдив и честен, смелость и порыв недоступны ему, он вырос в затхлой атмосфере обиды и унижения и умеет только обижать и унижать» (стр. 20).

Из этого же метафизического подхода к общественным явлениям, из склонности подменять социальные категории исторического характера категориями «моральными» логического порядка,—вырастает столь поразительное для марксиста утверждение: «Как всякий крупный русский человек, Щедрин был одинаково натурой религиозной» (стр. 27).

Отсюда же происходит непонимание психологии крестьянина, навязывание ему собственнических инстинктов (стр. 24), об'ясняемое тем, что Евг. Соловьев (Андреевич) не дожил до нашего времени, отмеченного мощной волной коллективизации.

Перечень таких ошибок можно было бы продолжить, однако, сказанного достаточно для характеристики того, насколько читатель должен иметь ввиду недостаточную зрелость марксистской методологии автора.

Тем не менее, статья Евг. Соловьева (Андреевича) является ценным историческим документом и, как ранний образец марксистской критики о творчестве Салтыкова-Щедрина, сохраняет свое историческое значение.

Со всеми этими оговорками, должным образом предупредив и насторожив читателя, мобилизовав его критическое чутье, редакция считает эту статью далеко не бесполезной и открывает ею сборник.

Редакция.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

1826 г. 15 янв.	Родился в селе Спас-Угол, Калязинского уезда, Тверской губернии.
1832 — 1836 гг.	Первоначальное обучение в домашней среде.
1836 — 1838 гг.	Учился в Московском Дворянском Институте.
1838 — 1844 гг.	В Царскосельском Лицее.
1841 г.	Первое стихотворение — «Лира», напечатано в 45 т. «Библиотеки для Чтения».
1844 — 1845 гг.	Печатал стихотворения в «Современнике» Плетнева.
1844 г. 23 авг.	Зачислен в канцелярию военного министра.
1846 г. 8 авг.	Получил место помощника секретаря в в том же учреждении.
1844 — 1847 гг.	Писал рецензии в «Отечественных Записках» и «Современнике».
1847 г.	Первый беллетристический опыт, повесть «Противоречия», напечатана в ноябрьской книжке «Отечественных Записок» (т. 55, ч. I, стр. 1 — 106), под псевдонимом — М. Непанов.
1848 г.	Вторая повесть М. Е. Салтыкова — «Запутанное дело» («Отечественные

	Записки», март) послужила поводом к высылке писателя в Вятку.
1848 г. 20 апр.	М. Е. Салтыков отправлен в Вятку.
3 июля.	Зачислен в канцелярские чиновники при губернском правлении.
1849 г. май—1850 г. июнь.	Исправлял должность правителя губернаторской канцелярии.
1850 г. 5 авг.	Назначен советником вятского губернского правления.
1855 г. ноябрь.	Получил разрешение выехать из Вятки в Петербург.
1856 г. 12 февр.	Отчислен от должности советника вятского губернского правления и причислен к министерству внутренних дел.
1856 — 1857 гг.	«Губернские очерки» (печатались в «Русском Вестнике» и частью в «Библиотеке для Чтения»).
—	Женитьба М. Е. Салтыкова на Е. А. Болтиной.
1857 г. 6 ноября.	Утвержден в должности чиновника особых поручений при министерстве внутренних дел.
—	«Губернские очерки». (Первое и второе издания).
1857 — 1863 гг.	«Невинные рассказы». (Печатались под разными заглавиями в «Русском Вестнике», 1857 г., «Библиотеке для Чтения» и «Атенее» 1858 г.; «Московском Вестнике» 1859 г.; «Современнике» 1859 — 1863 г.).
1858 г. 6 марта.	Назначен вице-губернатором в Рязань.
1858 — 1859 гг.	Печатался в журналах: «Русский Вестник», «Атеней», «Современник», «Библиотека для Чтения» и «Московский Вестник».

1860 — 1862 гг.	«Сатиры в прозе» («Современник»).
1860 г.	Переведен на должность вице-губернатора в Тверь.
—	Примыкает к «Современнику» и делается постоянным его сотрудником.
1862 г.	Вышел в первый раз в отставку.
1863 — 1873 гг.	«Помпадуры и помпадурши» «Современник», 1863 — 1864 г., и в «Отечественных Записках», 1868 — 1871 и 1873 гг.
1863 г.	«Невинные рассказы». (Первое издание).
1863 — 1864 гг.	Вошел в состав редакции «Современника», вместе с Антоновичем и Пыпиным.
1864 г. 6 ноября.	Назначен председателем пензенской казенной палаты.
1866 г. 2 ноября.	Переведен на ту же должность в Пулу.
1867 г. октябрь.	Переведен на ту же должность в Рязань.
1868 г. 14 июня.	Окончательно вышел в отставку и поселился в Петербурге.
1868 — 1870 гг.	«Письма о провинции». («Отечественные Записки»).
1869 — 1870 гг.	«История одного города». («Отечественные Записки»).
1869 — 1872 гг.	«Господа Ташкентцы». («Отечественные Записки»).
1869 — 1872 гг.	«Сборник Современник» и «Отечественные Записки».
1872 — 1873 гг.	«Дневник провинциала в Петербурге». («Отечественные Записки»).
1872 — 1876 гг.	«Благонамеренные речи». («Отечественные Записки»).
—	«Господа Головлевы». («Отечественные Записки).

1874 — 1877 гг.	«В среде умеренности и аккуратности». (Первоначально под заглавием: «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» и «Отголоски»—в «Отечественных Записках»).
1877 — 1884 гг.	После смерти Некрасова, был утвержден редактором журнала и руководил им до самого его запрещения (в апреле 1884 г.).
1877 — 1878 гг.	«Современная идиллия». («Отечественные Записки»).
1878 — 1879 гг.	«Убежище Монрепо». («Отечественные Записки»).
1879 г.	«Круглый год». («Отечественные Записки»).
1880 — 1885 гг.	«Сказки». («Отечественные Записки», «Неделя», «Русские Ведомости» и «Сборник литературного фонда»).
1881 — 1882 гг.	«Письма к тетеньке». («Отечественные Записки»).
1882 — 1883 гг.	«Современная идиллия». («Отечественные Записки»).
1883 — 1884 гг.	«Пошехонские рассказы». («Отечественные Записки»).
1884 — 1886 гг.	«Пестрые письма». («Вестник Европы»).
1886 — 1887 гг.	«Мелочи жизни». («Вестник Европы»).
1887 — 1889 гг.	«Пошехонская старина». («Вестник Европы»).
1889 г. 28 апр.	Скончался в Петербурге, шестидесяти трех лет от роду.
1899 г.	«Сочинения М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Издание автора. Спб. 9 томов.

Щедрин оставил после себя очень богатое наследство, заключенное в 12 томах «Полного собрания сочинений», где столько прекрасного исторического и художественного материала. Весь этот материал относится к четырем десятилетиям; написанные в нем статьи, очерки и рассказы имеют дело с самыми разнообразными общественными настроениями и условиями русской политики, и при чтении Щедрина это постоянно надо иметь в виду, так как чисто публицистическая струя замолкала в нем сравнительно редко. Случалось так, что Щедрин начнет какую-нибудь работу, затем оставит ее и примется за другую, снова вернется к первой, опять сделает перерыв и конец ее отсрочивался таким образом на несколько лет. Разобраться в массе переменяющихся настроений положительно не легко.

Многое притом же в этой блестящей публицистике значительно устарело, кроме, разумеется, вкрапленных в нее чисто художественных сцен и картин, и не всегда понятно современному читателю, а если и понятно, то далеко не в такой степени, как в дни написания: даже самая талантливая публицистика увядает очень скоро. Проходит какой-нибудь десяток лет, и общество совершенно изменяет свою физиономию и волнуется другими вопросами, задачами, думами, и от живого когда-то организма остается лишь сгнивший труп. К счастью для долговечности памяти Щедрина, он умел даже злобу дня брать в таком широком масштабе, связывая ее с общечеловеческими вопросами и интересами, что и она лишь в самых редких случаях является совершенно увядшей и всегда сохраняет свое историческое значение.

Щедрин сказал сам о себе в третьем лице:

«Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом собственно заключалась задача всей его деятельности».

Щедрин был прежде всего огромным художественным дарованием. Но он жил в такое время, когда все окружающее каждым явлением твердило человеку: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». То были 60-е и 70-е годы. Правильно или неправильно, но Щедрин думал, что, создавая свои превосходные по силе и глубине мысли, по богатству образов, по разнообразию красок «Губернские очерки», — он не в достаточной степени исполняет свой гражданский долг. Ему захотелось более близкого, более непосредственного участия в жизни и коловращениях судеб. Он стал публицистом. В сущности, этим неотразимым влиянием эпохи и объясняется такое обилие публицистического материала в произведениях того времени. Жизнь — несколько, впрочем, лицемерно — изъявляла готовность слушаться людей, и люди принялись учить ее. Щедрин один из первых вступил на этот путь после 10 лет работы, заставил всех мыслящих людей читать себя. Но художник, к счастью, не замирал в нем ни на минуту, и лучшие места его фельетонов — это несомненно те художественные вкрапления, которыми они так богаты. И здесь он оставался верен себе, и здесь проповедь «света и правды» была для него прежде всего проповедью «человечности», — в самом широком и в то же время, как скоро увидим, самом определенном смысле слова.

Он был человеком сороковых годов. Об этих годах он сохранил самое чистое и светлое воспоминание, но это воспоминание обнимало, разумеется, не всю жизнь, а почти исключительно литературу, к которой у него так рано проявилось тяготение. Правда, и литературу эту далеко нельзя было принимать во всем ее целом, не жертвуя самим собой, но все же, по словам Щедрина, ей удалось отыскать извест-

ные идеалы добра и истины, благодаря которым она не задохлась, она же создала те человечные предания, ту честную брезгливость, которые выделили ее из общего строя жизни и дали ей возможность выйти незапятнанною из-под ига всевозможных давлений. Никакого прямого выхода в жизнь, никакой возможности прямо воздействовать на нее литература, конечно, не имела; она, как сказочная царевна, была заключена в неприступном чертоге и только дремала, окутанная сновидениями... в основе которых лежало человечное, так что, ежели литература не принимала деятельного участия в негодованиях и протестах жизни, то не участвовала в ее торжествах. Больше всего, в дни молодости, Щедрин увлекался статьями Белинского и французской литературой и жизнью, где в начале его литературной деятельности все готовилось к 1848 году. «Я, — вспоминает он, — естественно примкнул к западникам, к тому безвестному кружку их, который прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана, в особенности Ж.-Занд». Под влиянием Франции в атмосфере действительно чувствовалась какая-то новая струя свежего воздуха, чуялось брожение в умах, и романами Жорж-Занд готовилось откровение, которое и выразилось скоро в народолюбии — этом знамени русской интеллигенции, начиная с сороковых годов.

Все идеалистические порывы, все хорошие прочитанные книги французских социалистов о правах человека и немецких романтиков о святости человеческой личности, — все это вело к отрицанию основы государственно-сословной жизни, т.-е. крепостного права. Это общеизвестно, и здесь довольно того, если мы признаем тот несомненный факт, что для людей передовой мысли крепостное право, главным образом, ужасы конюшни, тургеневское «чики-чики», действительно представлялось учреждением отсталым и безобразным, и, живя у себя в деревне, они все более проникались ужасом.

На всем движении сороковых годов лежит печать чего-то отвлеченного, пожалуй, даже сентиментального. Этот послед-

ний элемент мало заметен у Тургенева, благодаря его огромному художественному дарованию, но у Григоровича он на первом плане. Я надеюсь показать, что и Щедрин был несколько склонен к нему, хотя сатира и часто преднамеренная грубость слова и заслоняют от читателя эту сторону его дарования. Но все «отвлеченное» было на первом плане и в области философии, и в области нравственности, которая понималась как стремление к абсолютному самосовершенствованию, и в области религии, где все вертелось на доказательстве бытия божия, и в области понимания общественных явлений. Это «отвлеченное», от которого скорее всего отделались Белинский и Герцен и которое заключалось в полном игнорировании материальной стороны исторического процесса, доходило прямо до крайностей и составляет одну из самых характерных сторон рассматриваемого времени. Даже в формуле «мужик — человек» вы безусловно чувствуете его, так как слово «человек» само по себе означает очень мало. Но в нем же и заключалась сильная сторона умственной жизни эпохи. Оно помогло создать и «идеалы добра и истины», и «человечные предания», и «честную брезгливость».

Щедрин полностью пережил веяние своего времени и, вспоминая о днях своей юности, он говорил потом, по обыкновению, в третьем лице:

«Еще в ранней молодости он был уже идеалистом, но это было скорее сонное мечтание, нежели сознательное служение идеалам. Глядя на вожаков, он называл себя фурьеристом, но в сущности смешивал в одну кучу и сен-симонизм, и икаризм, и фурьеризм, и скорее всего примыкал к сенсимонизму. В особенности его пленяла Жорж-Занд в своих первых романах. Он зачитывался ими до упоения, находил в них неисчерпаемый источник той анонимной (т.-е. не имеющей определенного объекта) восторженности, которая чаще всего лежит в основании юношеских верований и стремлений. Были слова: добро, истина, красота, любовь, свобода, совесть, которые производили чарующее действие, которые он в свои юные годы готов был повторять бесчисленное число

раз, и слушая которые он был бесконечно счастлив. Если бы от него потребовалось наполнить эти слова содержанием, он удивился бы — до того они представлялись ему несомненными и обязательными, до того его прельщал самый звук их». Под этим влиянием он написал свое «Запутанное дело», где изобразил несчастное положение одного молодого провинциала, попавшего в столицу. Самое важное, конечно, то, что несчастия своего героя Щедрин объясняет не его личным характером, не сплетением случайностей, а общими причинами. Герой гибнет стихийно, задавленный общественной пирамидой, в низшем слое которой находится он. Это взгляд социалиста, но все же пока на первом плане находились слова.

Известной дозой реального содержания высокие слова «любовь, красота, истина» и пр. наполнялись критикой окружающей русской обстановки. Положим, что человек не знал, что такое добро и истина, но он твердо знал, что все, признаваемое за добро и истину обыденной моралью, не добро и не истина; пусть даже для него был непонятен истинный смысл слова «человечный», но он не сомневался, что «человечное» обыденной морали в действительности бесчеловечно, и т. д. Нельзя не согласиться, что это, действительно, очень оригинальный «метод» мышления «от противного», но история всероссийской интеллигенции говорит нам, что он применялся всегда и с одинаковым успехом. Не встречаем ли мы его опять в бесчисленных, так называемых, семейных драмах шестидесятых годов, когда к каждому слову моральных сентенций своих родителей дети прибавляли «не»? Хороший жених, по этому способу, превращался в нехорошего жениха, законные доходы в доходы незаконные, справедливая кара за непослушание отцу или матери или обоим вместе в кару несправедливую. Человек, слетевший с луны, мог бы посмеяться тут многому, но людям земли тут положительно смеяться не над чем. И совершенно естественно, где источник этого назойливого и постоянного «не». С одной стороны, круг понятий, основанный на преданиях, авторитете

и идеале личного довольства, с другой — такой же круг понятий, но основанный уже на признании личной независимости, на мечтах о будущем. Столковаться в то же время было совершенно невозможно, и драма сменялась драмой, а слезы слезами...

Все высокие слова Щедрин хотел возобновить для больного усталого поколения впоследствии в памяти под именем «забытых». Он не успел этого сделать и так и умер лишь с мечтами о такой работе. Но настойчивость, с какой его память возвращалась к забытым словам, показывает, как сильно запали они в его душу. Расширенные, просветленные сознанием и опытом, ставшие настоящими живыми существами с плотью и кровью, они на самом деле являлись истинными руководителями всей его жизни. Они даже не утеряли нисколько своего отвлеченного характера, закваска юности оказалась ферментом целого человеческого существования. Эта отвлеченность, несомненно, обусловливала и огромную требовательность от всего окружающего, и жажду совершенства во всем, и вечную неудовлетворенность крохоборными усовершенствованиями, — что так часто приводило в недоумение добрых людей. Конечно, пребывание в провинции только утвердило отрицательное отношение Щедрина к русской действительности. Идя в своих «Губернских очерках» за Гоголем, он не углубил, конечно, но расширил его сатиру, распространил ее на весь государственный и общественный быт и тут же начал свою огромную задачу — полного дискредитирования русской канцелярии.

Одним из самых красивых, привлекательных и вместе с тем неопределенных слов сороковых годов было слово «человек» и происходящее от него «человечное». Щедрин привязался к нему со всей страстностью, на которую только была способна его, вся состоявшая из нервов, натура, и на развитие его истинного смысла посвятил всю свою литературную деятельность, при чем «публицистика» являлась простым подспорьем художественного творчества. Насколько такое-то явление «человечно» — вот вопрос, который интересовал его

прежде всего. Его нельзя было ни обмануть, ни обойти словами. В этом отношении он был безусловно неуступчив, и, если мы посмотрим на него с этой стороны, то увидим, какая огромная доза моралиста скрывалась в этом большом русском человеке — как, впрочем, и вообще в больших русских людях, близко принимавших к сердцу жизненные интересы своего отечества, а не ограничивавшихся тем только, чтобы наблюдать за коловращениями его судеб, регистрируя их то в статистических таблицах, то в художественных образах... Очень вероятно и даже наверное, что по сочинениям Щедрина трудно ответить на вопрос о сущности красоты и истины, но сущность «человеческого» разъяснена им полностью. Впрочем «человеческое» было тем верховным понятием, которому он охотно подчинял все остальные. Только человеческое могло быть действительно прекрасным, только оно могло быть истинным. Замечу, впрочем, что по свойству своего ума и дарования он останавливался не столько на положительных определениях человеческого, сколько на уклонениях от него, на его извращенностях. Если он мало говорит о психологии настоящего человека, который у него обыкновенно за сценой, зато о психологии не-человека — раба, куклы и злодея — он говорит очень и очень много. Раб, кукла и злодей — это для него главные разновидности не-людей, все равно как и служители формальной правды.

Больше всего он говорит о психологии раба. Чувствовал ли он, что здесь заключается главнейший слабый пункт русских преуспеяний, или по какой-нибудь другой причине — судить не берусь. Рабство и его разновидности, хамство, холопство, это непонимание своего достоинства, это отрицание достоинства в других, эта жестокость сильного, переходящая в человеконенавистничество, издевательство над слабым — вот наследие крепостного права. И, конечно, корни вдохновения Щедрина, как вдохновения Тургенева, Гончарова и т. д., находятся здесь. Несомненно, что высшее из созданного им относится именно ко времени крепостного пра-

ва. Он знал его и даже больше, чем знал; по его собственному признанию, оно преследовало его «по пятам» в течение всей жизни.

В воспоминании Щедрина о временах крепостного «быта» есть что-то страшное — вплоть до самоубийства детей.

«Я, — говорит он, — слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его... Я видел глаза, которые ничего не могли выражать, кроме испуга, я слышал вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кроме физической боли, я был свидетелем зверских вожделений, которые разгорались исключительно по поводу куска хлеба... В царстве испуга, физического страдания и желудочного деспотизма нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли...»

Можно привести массу подобных выписок, но это совершенно излишне. Дело ясно само по себе, и смешно даже сомневаться в том, что впечатления дореформенной эпохи были, вероятно, самыми сильными в жизни Щедрина: великолепная эпопея крепостного быта — «Пошехонская старина» — создана им на склоне дней, а «Господа Головлевы» написаны в течение 1872 — 1876 гг., т.-е. 11 — 15 лет после реформы... Создавая рабов, холопов и хамов, общую атмосферу лести, подхалимства, жестокости и напуганности, поддерживаемой вечной пыткой, крепостное право вырабатывало основной элемент таких страстных натур, как у Щедрина — негодование и тоску о здоровой, человечной жизни.

Крепостное право не знало людей собственно, а знало господ и холопов. Первые командовали, вторые слушались, и обе стороны взаимно и незаметно развращали друг друга. Когда крепостное право было уничтожено, оно исчезло только из свода законов. Жизнь так освоилась с ним, ее уклады так применились к нему, оно пустило такие глубокие корни во всех ее областях и прежде всего в области нравственности и общественности, что и долгое время спустя можно было

видеть не только «следы» его, но и целый кодекс морали и общественных отношений, оставленный им на пользование и поучение потомства. Еще Добролюбов, говоря о неизбежном и неминуемом падении крепостного права, строго прибавляет, что этим задача далеко не исчерпывается, и что всероссийский гражданин отнюдь не имеет полного права почить на лаврах, что напротив того, ему предстоит еще труднейшая задача бороться с последствиями крепостничества, не только забравшегося во все щели, но и растворившегося, так сказать, в атмосфере общественной жизни. Задача была огромная, и, чтобы выполнить ее, нужны были огромные силы. Щедрин взялся за нее, начиная с «Губернских очерков».

В основе этого духовного рабства и всепоглощающего самосохранения лежит трусость. Ей, в чистом ее виде, Щедрин посвятил две превосходных сказки: «Премудрый пискарь» и «Самоотверженный заяц», слишком известные, чтобы на них останавливаться, и вообще его сочинения — это галлерея рабов, при чем обыкновенно рабами оказываются и те, кто считает себя за господ. Разное рабство и разнообразное. Рабство прямое, юридическое, как крепостные отношения; рабство духа, с детства запуганного; рабство в виде материальной зависимости; рабство подчиненных в отношении к начальникам. «Бедная страна эта Россия: ее надо жалеть», говорит Щедрин; бедная, потому что страна рабов...

Премудрые пискари, самоотверженные зайцы, гордые помещицы, как Арина Петровна, Иудушка — все это не люди, способные воспринять «истину, добро и красоту» жизни, а лишь пол-человека, четверть человека, вообще какие-то дроби людей. Одни запуганы, как премудрый пискарь, и страх выел их душу, у других холопство стало второй натурой и преобразовалось в беззаветную преданность, у третьих умерло все, кроме злобной наклонности к пакостничеству и негодяйству. «Господи, да куда же настоящие-то люди попрятались?» — с ужасом спрашивает себя художник и снова берет в руки свой диогеновский фонарь и днем с огнем

ищет человека. Но кукольных дел мастер Изуверов объясняет ему, что человека нет. «Взглянешь, — говорит он, — кругом — все-то куклы, везде-то куклы. Не есть конца этим куклам. Мучат, тиранят, в отчаянность, в преступление вводят. Верите ли, иногда думается: господи, кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть».

В тоску привел Изуверов Щедрина, показывая ему своих деревянных людишек: слишком близки они к жизни, чтобы отделаться от впечатления, что настоящая фабрика их там, в этой путанной сети человеческих отношений, себялюбивых и недоверчивых, где человек человеку враг, гибель одного вызывает торжество другого, а торжество другого — зависть третьего и желание видеть гибель удачника.

Куклы — порожденье столько же дореформенного, сколько и пореформенного времени, когда процесс обездушивания человека происходит не сразу, а постепенно и систематически, путем непрестанного воздействия мелочей жизни. В добрые старые дни обряд оглушения производился более энергично, сразу: самый факт рождения в курной избе или барских хоромах предопределял судьбу человека от колыбели до могилы.

Кроме того, в распоряжении бурмистров и других начальствующих лиц находились сильно действующие (heroica) средства, быстро приводившие к общему знаменателю забывшегося человека. Экономическая зависимость — то же рабство, но действует не казацкими набегами, не неожиданными набросками, а гораздо деликатнее, хотя результаты, в конце концов, те же самые, да жизнь, в сущности говоря, та же самая — проходящая в вечном страхе перед завтрашним днем, в вечном трепете за свое существование. Быть может, горечь такой зависимости усиливается еще близким к иллюзии сознанием, что, по действующим законам, циркулярам и постановлениям, возможность добиться довольства и, так сказать, «материальной» свободы предоставлена решительно каждому. Могий вместити пусть вместит, говорят эти законы, «цир-

куляры и постановления человеку, лукаво подмигивая в сторону счастливцев и удачников. Правда, несколько напряженных попыток быстро убеждают любого из нетерпеливых, что довольство и обеспеченность — удел лишь очень и очень немногих, и он все свои вожделения сводит к скромной формуле: «хотя бы как-нибудь свести концы с концами»; но это дело очень затруднительно: скудный кусок достается лишь под условием постоянного страха утерять его. Этот-то страх гораздо более, чем самый труд, и есть то иго, которое несет современное человечество под разными широтами, на разных меридианах, представляющее из себя паскудное зрелище твари дрожащей. Эту грандиозную картину оскудения духа, полного забвения им не только уже божественного, но и просто человеческого своего существования, сатирик изобразил в одной из лучших и поздних своих вещей, названной им «Мелочами жизни»...

И вдруг просыпается душа, и среди окутавшей все существо человеческое мелочей тьмы властно и неумолимо раздается ее голос: «что ты делал? зачем жил?»... Много ухищрений изобретено человеком, чтобы не слышать этого призыва к покаянию и раскаянию, но все же, рано или поздно, должен наступить этот страшный момент, и «человеческое» предъявит свои права.

На этой простой мысли Щедрин строил свои драмы. «Господа Головлевы» кончаются тем, что даже Иудушка задает себе страшный вопрос, зачем он жил и зачем кровопийствовал. Герой эпопеи «В среде умеренности и аккуратности», Молчалин, в ужасе видит, как почва уходит у него из-под ног, как он после катастрофы с сыном покатился в какую-то зияющую пропасть, и от всей его жизни, усилий, кровопийства, человеконенавистничества не останется ничего, кроме отчаяния и мрака.

Щедрин верил в человека, верил в то, что в основе нашей жизни и нашей природы лежат всемогущие нравственные силы, совершенно устранить которые из своего бытия человек не в состоянии. Только давая простор этим именно

силам, не заслоняя их ни мелочами, ни ложью, можно рассчитывать на истинное счастье. Иначе вся жизнь окажется не только суетой сует, но и грехом. Правда, иначе грешит покорный раб Черезов, чем злодей Иудушка; иначе губит людей бездушная кукла, чем кровожадный волк, но и здесь и там все грех, грех и грех. Это точка зрения моралиста? Да, конечно, и, как художник, Щедрин обыкновенно стоял на ней. Мало того: он был проникнут ею и постигал ее во всей ее глубине. Высшим верховным судьей человека он признавал его собственную совесть, которая над собой не знает уже никакого судьи. Ей отмщение — и она воздаст... а мы можем только верить в необходимое торжество этого верховного начала. Только поэтому Щедрин примирил нас с Иудушкой и с кровожадным волком, который, замученный совестью, сам, учуяв облаву, спокойно вышел навстречу охотникам со словами: «вот она смерть-избавительница». И кто же бросит камень в лежащий невдалеке от погоста холодный труп Иудушки или в этого волка, почти героя? «Будьте людьми, не давайте мелочам жизни заполнить духа своего, не давайте злодейству загрязнить его» — вот завет Щедрина... Но что же делает из человека Иудушку, куклу, Молчалина, кровопийцу, служителя формальной и жестокой правды? Что заставляет людей радоваться горю ближних, издеваться над ними, бить лежачего? Как в «Запутанном деле», так и вообще во всех своих произведениях Щедрин давал на это один ответ: причина такого унижения человека кроется в о б щ е с т в е н н ы х у с л о в и я х. Они-то создают из человека раба. А раб есть раб. Он не может быть правдив и честен, смелость и порыв недоступны ему, он вырос в затхлой атмосфере обиды и унижения и умеет только обижать и унижать. Жизнь сделала его бездушным, его счастье и спасение только в этом бездушии, и самое страшное, самое трагическое — это п р о б у ж д е н и е в р а б е ч е л о в е к а...

Отвлеченный, в юности воспринятый, идеал красоты, добра, истины, человечности, идеал Щедрина нашел свое воплo-

щение в крестьянском царстве... Ум огромный и глубоко скептический, Щедрин боялся отдаться ему совсем, но позволял ему увлекать себя.

Если отбросить крайности народнического движения, то несомненно, что Щедриным оно было пережито полностью. В крестьянской жизни он видел прежде всего наиболее полное воплощение идеалов правды, добра, справедливости — даже красоты и истины. Он любил противопоставлять жизнь интеллигентную, чиновничью, барскую — жизни мужицкой, и читателю ни разу не придется сомневаться, на чьей стороне симпатии художника. Но в то же время у него есть и очевидные следы перелома правоверной народнической мысли. Любопытная черта: несомненно идеализируя мужика и устои его существования, — Щедрин в то же время никогда не доходил до идолопоклонства. Его ум был в высшей степени трезвый, отчасти даже скептический, который всегда заставлял его остановиться во-время. Он не носился ни с общиной, ни с миром, ни с артелями, ни с круговой порукой. Проникая в истинную «подоплеку» — его выражение, — он говорил, напр., об общине:

«Теперь все это до того стерлось, что самые рубрики сделались пустопорожними выражениями. Теперь большинство славянофилов убедилось, что есть о б щ и н а и о б щ и н а; что община, на которой они созидали благополучие и силы России, не обеспечивает ни от пролетариата, ни от обид, приходящих извне, что, наконец, будущая форма общежития, наиболее удобная для народа, стоит еще для всех загадкою. Напротив, по странной случайности, бывшие западники, ставши ближе к кормилу, примирились с общиной, потому что с нею связана круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять».

Можно, как кажется, прямо утверждать, что, разделяя народническое настроение, видя в крестьянской жизни основу жизни всего народа и всего государства, источник его силы и слабости, — Щедрин не разделял народнических идеалов и не соглашался признавать в устоях крестьянского быта

что-то самодовлеющее. Если община лучше канцелярии — это ещё не значит, что она хороша; если крестьянская работа лучше, реальнее работы столоначальника — это не значит, что она хороша и т. д. С этой точки зрения известная картина, изображающая Щедрина на опушке леса перед поляной, на которой пашет мужик, — картина, внушающая, так сказать, зрителю, что вот этот пашущий мужик и есть идеал сатирика, совершенно неосновательна. Это годилось бы разве, да и то с натяжкой, для Толстого. На самом деле, если пашущий мужик может служить идеалом, то отсюда прямой нравоучительный вывод: «бери соху, паши землю» и оставь в стороне искусство и науки. До такого вывода Щедрин не доходил и дойти не мог, потому что в нем очень и очень была сильна культурная, европейская закваска.

Есть каверзный вопрос: кому у кого учиться? интеллигенту у мужика или мужику у интеллигента, или же тому и другому, к общей радости и благополучию, меняться взаимными услугами? Мужик, говорят, будет обучать нас нравственности и добродетели, а мы его грамоте, сельскому хозяйству и прочим хорошим вещам. И будет в таком случае на земле мир и благоволение. Но, во-первых, можно ли научиться нравственности и добродетели? Сократ это признавал, это был один из краеугольных камней его проповеди, но, в сущности, научил ли он кого-нибудь, чему хотел? Это сомнительно. Наша моральная жизнь является прежде всего проявлением нашего характера, нашей натуры и лишь в очень и очень незначительной степени наших идей. Идеи указывают точку приложения силы, но самой силы они никогда никому не давали и давать не могут. Вся система наших нравственных понятий находится в такой близкой органической связи с условиями нашей жизни, что произвольно их разъединять нет решительно никакой возможности. Возьмите, напр., отношение к женщине. Вообще говоря, «учить жену» принято в крестьянском мире, а мы смотрим на такого учителя, как на варвара и башибузука. Нас возмущает даже всякое насилие над личностью. Этим насилием над личностью живет

община. Нас приговор большинства ничуть не освобождает от упреков совести, но крестьянин, раз «мир постановил», хотя и нечто заведомо несправедливое, умывает свои руки и остается совершенно спокойным. Миром приковали сумасшедшую на цепь и постановили, чтобы она сидела на цепи до конца дней. Миром отправили Ивана Непомнящего в Сибирь на поселение, и о чем еще толковать тут... и т. д. Такова система нравственных понятий, неразрывно связанная с сохой. Взявшись за соху, сделавшись общинником, вы должны принять и эту систему нравственных понятий. Но у нас многие склонны смотреть на дело иначе и видят в «системе нравственных понятий» своего рода шапку, которую с большим или меньшим успехом можно напялить на любую голову. Крестьянское моральное миросозерцание для нас совершенно не годится, для современного крестьянского общинника не годится и наше. Что, действительно, станет он делать с нашим скептицизмом, критикой, нашим преувеличенным даже преклонением перед личной свободой и независимостью? Он на первых же порах столкнется с миром, и это столкновение сразу же и неизбежно станет трагическим. Мир себя покажет, как, по свидетельству наших народников, он сотни и тысячи раз показывал себя, продавая за ведро водки свое достоинство, свои права и преимущества.

Мы всегда забываем самую простую вещь, что «система нравственных понятий» общинника есть не что иное, как система нравственных понятий нищего человека, жмущегося к стаду, потому что, в конце-концов, на миру и смерть красна. Вы хотите крайнего и решающего доказательства этой простой мысли? Кажется, что за ним очень и очень недалеко ходить и стоит только обратиться к свидетельству той же самой народнической литературы по части всех тех «особей», которые экономически прежде всего, а потом и духовно выбрались из обычного для крестьянского полунищенского уровня существования.

Из песни слова не выкинешь. Не выкинешь и из картины нашей жизни того несомненного и очевидного факта, что

все эти Колупаевы и Разуваевы — порождение нашего мира, нашей общины, укладов нашей крестьянской жизни. Почему же это так постоянно случается, что стоит только человеку подняться ступенью выше сравнительно с ближними своими, стоит ему только начать торговать водкой, калорским чаем и линючими ситцами, как от его добродетели не останется и следа и вместо смирения духа, появляется наглость его, вместо жалости и сострадания — желание затоптать ближнего в грязь, презрение к слабому и гордое торжество над погибшим и погибающим? Нет хуже и горше обид, которые наносили крестьянину в лице бурмистров при крепостном праве, в лице Колупаевых и Разуваевых теперь.

Повторяю: совершенно неправы поэтому те, кто навязывал Щедрину идеалы крестьянского быта или преклонение перед его устоями. Все равно, как он не мог в свое время признать нигилизм «высшей формой мышления», как впоследствии он не восторгался деятельностью земских учреждений, так и к основному пункту народнической доктрины, провозгласившему общину панацеей всех зол, он отнесся прямо отрицательно. В ответ на все песнопения слышался его суровый скептический голос: «современная нам форма крестьянского общежития неудовлетворительна», и «будущая форма общежития, наиболее удобная для народа, еще загадка для всех». Только тот, кто знает, какую роль играла «община» и «общинность» при создании народнических утопий, какие надежды возлагались на них, до какой степени незыблемыми они представлялись, - оценит по достоинству предостерегающий голос Щедрина.

Но в то же время он бы не был человеком своего времени и даже вождем его, если бы не видел в крестьянстве и крестьянской жизни основы жизни всего народа и не требовал бы в отношении к ней наибольшего внимания, наибольшей любви и даже наибольшей самоотверженности.

Но что же делать, если мещанские инстинкты, обоготворение имущества, так глубоко заложены в крестьянскую душу, что ждут лишь удобного случая для пышного своего

расцвета? На этот огромный вопрос Щедрин не ответил. В своем отношении к крестьянству и крестьянскому миру он был столько же трезвым мыслителем, сколько поэтом-идеалистом. Он отдыхал на картинах мужицкой жизни и правды, он давал этим картинам возможность обманывать, увлекать себя. Сатирик часто надевал на себя костюм идиллиста, но, увы, этот костюм был слишком не по мерке ему, чтобы он мог долго оставаться в нем.

Перечтите рассказ Пименыча о святой земле или повествование о чудесах, виденных на пути странницей Пахомовной, и скажите, разве это не умиление? Разве не умилялся и Крамольников, произнося свою страстную речь на юбилее «Полита Мосеича», разве не то же чувство продиктовало Щедрину слово искупителя, обращенное к тем, кто поливает землю потом и кровью своей? Странного, неожиданного в них ничего нет. Щедрин ничуть не виноват, что мы его плохо знаем, что для одних он все еще писатель по смешной части, для других «политический» сатирик по преимуществу, развенчавший и дискредитировавший всех ярыжек, под'ячих и канцелярских служителей. Оба взгляда одинакового обидны для Щедрина. Он был прежде всего великим русским писателем, таким же, как Гоголь, Толстой, Некрасов — значит, болел их же болями, значит — искал и находил утешение там же, где находили они — в вечных заветах любви и жизни народа, его будущем. Обращаясь к народу, он мог бы сказать словами Некрасова:

Я кручину свою многолетнюю
На родимую грудь изолью...
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою... [1])

[1]) Я думаю, мне нечего даже и прибавлять по этому поводу что Щедрин одинаково, как и Некрасов, был одним из наших кающихся дворян. Если вообще этот тип сыграл существенную роль, то, разумеется, потому лишь, что он имел в своей среде очень крупных представителей. Одним из крупнейших был Щедрин. В доказательство принадлежности его к кающемуся барству не буду

Между Гоголем и Щедриным есть та разница, что то, что Гоголь преследовал с нравственно-религиозной точки зрения, то Щедрин клеймил, как моралист и общественный деятель. Гоголь был близок к обстановке своего времени, но эта обстановка интересовала его прежде всего с ее метафизической и религиозной стороны. Он искал ответа на вопрос, в чем смысл жизни, выводил на сцену людей, которые придают этой жизни какой-то странный и пошлый смысл, т.-е. обращают ее в бессмыслицу, и тосковал об этом, потому что грозные призраки смерти и вечности совсем не мирились в его представлении с образом жизни, заботами, тревогами и радостями Маниловых, Плюшкиных, Ноздревых и т. д. Когда Гоголю приходилось спрашивать себя, откуда это пониженное существование людей, это полное умаление их духа, эта непроходимая и пошлая низменность их существования — он отвечал на это не указанием на историю, хотя сам был, положим, случайно историком, или — на кре-

ссылаться, как иные, на его служебную карьеру, до которой историку литературы очень мало дела. Историк литературы скажет только, что гуманные и радикальные мечты и идеи 40-х годов были очень широки, лишены действительно реального содержания и что о безусловной ответственности перед ними не могло быть и речи. Оттого-то такие люди, как Добролюбов и Чернышевский, и не переваривали „барства". Но по отношению к народу стоит остановиться. Факт был тот, что освобожденный народ не был счастлив и, больше того, оказался почти-что в прежней кабале, хотя и у других уже хозяев. Такое несчастное положение народа должно было во всех лучших людях,—к какому бы классу они ни принадлежали,—вызывать самое простое и естественное чувство жалости к нему, желание его научить, дать ему в руки хорошую книгу, дать ему основы гражданского существования. Но кающийся дворянин к этому простому, повторяю, и естественному чувству должен был прибавить ту напряженность и даже истеричность, которые зависели не от исключительной любви к слабому, а от воспоминаний о собственных или отцовских грехах, т.-е. кричащий голос своей совести. Это было, значит, народолюбие, разогреваемое и разгорячаемое чувствами совершенно посторонними. И такого народолюбия не могло быть, напр., ни у Решетникова, ни у Добролюбова. Здесь духовный надрыв. Здесь не только желание помочь народу, но и мысль о расплате с ним.

постное право, которое он принимал, как факт, не возмущаясь им, не допуская, повидимому, даже мысли о возможности и необходимости его упразднения, и говорил: люди оттого живут безобразно и даже гадко, оттого они ползают в грязи, что не понимают своей с у д ь б ы, тайны своего рождения и тайны смерти, не понимают и той огромной ответственности, которая ждет их за гробом; их религиозное мышление или бездействует, или прилепилось лишь к обрядовой стороне веры или, отделившись от жизни, не влияет уже на нее. Как натура глубоко-религиозная, с некоторым даже оттенком церковничества, Гоголь и не мог отвечать иначе на тот вопрос о смысле жизни, который он поставил себе.

Как всякий крупный русский человек, Щедрин был одинаково натурой религиозной. Но его религиозность надо понимать в том смысле, в каком понимает ее, напр., Солтер в своей «Religion der Moral». Сущностью этой религиозности

Вообще же к сказанному мною выше я должен прибавить, что барскими и разночинными идеями я считаю совсем не те, которые находятся в голове данного барина или разночинца. При исследовании каждого данного случая в отдельности могут быть сделаны совершенно неожиданные открытия, диаметрально противоположные ожидаемым. Это значит лишь то, что известные идеи обладают силой внушения, достаточной для преодоления классовых симпатий или антипатий, раз тому благоприятствуют обстоятельства. Барские идеи должны быть выработаны и действительно вырабатываются на почве прочных укладов барской, крепостнической культуры. Так же вырабатываются барские натуры, и вся барская связка чувств. У разночинцев тоже были прочные уклады, или лучше сказать, отсутствие этих укладов, была жизнь, отданная на произвол каприза, прихоти и случайности, выработавшая свои идеи и настроения, напр., чувство мести, идею утилитаризма, вопияние против красоты и т. д. Кто какими идеями увлечется— это часто дело житейской случайности, но вообще естественно предположить, что барское ближе барину, чем кому-нибудь другому, и что барин отрицатель останется в основе своей натуры все тем же Рудиным, тем же Бельтовым, т.-е. барином, занявшимся отрицанием. И в отрицании будет слышаться тот же барский смех, та же барская избалованность или то же барствование во Христе. Могут быть редчайшие исключения, но не о них речь.

является тот же вопрос о смысле жизни, но ответ на него диктуется прежде всего и даже исключительно нравственным чувством, совестью, — тем, что Кант называл присущим человеку моральным законом. Смысл жизни может быть осуществлен лишь в той обстановке, которая обеспечивает счастье всех; теперь смысл жизни может быть найден лишь в стремлении к этому счастью, что в глазах Щедрина является долгом каждого. Его нравственность сводилась к требованию подвижничества во имя общественных целей.

Он весь в общественных интересах, он дышит и живет ими.

С обстоятельностью хроникера он следит за всеми переменами общественных мыслей и настроения, за всяким мероприятием канцелярских сфер, за каждым выдающимся фактом газетной хроники, за всякой интересной книгой. В нем настоящий темперамент журналиста: он и редактор, и са-

---

Кающийся барин 70-х годов шел той же дорогой, как и протестующий разночинец. Во всяком случае, той противоположности взаимного непонимания и вражды, какая была между барином и разночинцем в 60-ые годы, теперь на сцене нет. Кающийся дворянин ушел в свое народолюбие, несколько сузив сферу других своих интересов, все больше отказываясь от широчайшей и всеобъемлющей гуманности 40-х годов, от своего эстетического отношения к действительности. Это уже барин, переработанный шестидесятниками и их прямолинейными взглядами. Он во многом подчинился разночинцу, но во многом подчинил и его себе. В литературе он занял первые места. Его народолюбие (как расплата с народом, как веление больной совести) очень близко подходило к народолюбию разночинца. Народ он идеализировал, между прочим и потому, что кающийся всегда идеализирует измученного им или того, кого он считает собою измученным, человеком. Но идеализировал народ и разночинец, как единственный предмет своей любви, теперь с каждым днем все больше оплевываемый, а не освобождаемый, как раньше. И муки совести и единственная любовь возвеличивали красоту безыменного даже подвига. Таким образом, в 70-ые годы мы видим своего рода синтез разночинца и барина. Это можно проследить даже в подробностях, напр., в философии Арнольди или Михайловского, которые, очевидно, синтезировали взгляды 40-х и 60-х годов.

тирик, и фельетонист, и внутренний обозреватель, и библиограф. Поражаешься его неутомимости и его отзывчивости. Он следит за всем и на все откликается. Он исполнен гнева и благоволения, любви и ненависти, подавляющего презрения, жестокого сарказма, самого непримиримого раздражения и самой нежной жалости. Его письменный стол — это трибунал, перед которым каждый месяц должны пройти все факты общественной жизни и отдать ему отчет в своем содержании. Он допрашивает и пытает их, он разражается то смехом, то слезами, он вечно в волнении. И в этом его огромная сила, как и в непримиримости. Все его заботы сосредоточены на том, чтобы разбудить наконец эту спящую или засыпающую публику. Он тормошит ее постоянно. То обращается он к ней с добродушной насмешкой, увеселяет и развлекает ее разными шутками, уговаривает и учит ее, дает ей советы, высмеивает ее увлечения, ее скоропреходящих героев, хохочет им прямо в глаза, от лирического воззвания переходит к художественному изображению какого-нибудь ужаса жизни, изображает его с настоящей трагической силой и гневно спрашивает: да неужели вы не понимаете, что скрывается под этим, чем это грозит вам? Он прекрасно знает, что публика любит его, что у него масса восторженных читателей, что ему простят всякие дерзости и оплевание кумиров, и он щедр на дерзости и на оплевание. Но в основе своей он всегда серьезен, потому, что та цель, которой он служит, велика и важна в его глазах, потому что он верен раз навсегда своей любви и ненависти, потому, что он непримирим в своей борьбе с канцелярией и канцелярщиной. Великий мастер слова, он с огромным искусством пользуется всеми его оттенками, всеми родами писательского искусства (вплоть до стихов) — чтобы расшевелить человеческую душу своей милой публики, тетеньки, чтобы поднять ее уважение к себе, разрушить ее равнодушие.

Сатира Щедрина преследовала самодовольство и самоуслаждение во всех его видах и в чем бы оно ни проявлялось.

Самодовольство является необходимым и неотъемлемым элементом всех его отрицательных типов, начиная от изуверовских кукол и кончая Иудушкой Головлевым и Угрюмом Бурчеевым, грозно приказывающим речному потоку повернуть свои волны вспять. Самодовольство — синоним умственной и нравственной отупелости, это броня, защищающая человека от всякого сострадания, от всякой любви к ближнему. Пусть льются слезы, пусть царит неправда, пусть нищета высасывает последние соки из своих жертв... — я заплатил за месяц прислуге, я ни копейки не должен в мелочную лавочку, я вызубрил краткие начатки либерализма, — и благо мне... Надо спросить себя, откуда эта странная, все побеждающая сила Иудушек, кузин Машенек и прочей — виноват за выражение, — сволочи? Не в том, разумеется, что у них есть деньги, так как начали они все же без гроша, и не в лицемерии, потому что на одном лицемерии далеко не уедешь, — их сила в самодовольстве, в той нравственной тупости, которая позволяет им бить и добивать лежащих людей и успокаивать свою совесть соображением, что они поступают на законном основании. И все отступают перед ними, и все попадают в их паутину, потому что формальная правда на их стороне. Прямо они не воруют, прямо не насильничают, и кто же посмеет придраться к ним? Как вороны, издали зачуяв запах тлена и разложения, слетаются к трупу и падали, так Иудушки и кузины Машеньки кружатся возле всех слабых и гибнущих, чтобы, воспользовавшись минутой полной растерянности, доканать их. Нет у них той неудобной вещи, которая в общежитии называется совестью, представляющейся с психологической точки зрения процессом самокритики... Самодовольство самодовольству рознь. Оно знает самые различные степени, ступени и градации. Оно может быть наивным и добродушным, как у бессмертных героев Диккенса, Стерна, Рабле, может соединяться и с холодной злобой опустошенной души, как у большинства героев Щедрина. Оттого-то его сатира так часто и переходит в драму, что он выбирал действующими лицами

своих рассказов людей, пожалуй, и добродушных, но таких, руки которых «запачканы кровью». Возьмите, напр., Молчалина. «Я,—рассказывает Щедрин,—видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими руками разрезывать пирог с капустой.—«Алексей Степанович, — воскликнул я в ужасе, — вспомните, ведь у вас руки...» — «Я вымыл», — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезать пирог. Молчалин совсем не злодей, он превосходный семьянин, страстно любит своих детей и ко всему этому настолько добродушен, что откушать у него пирог с капустой прямо приятно. — Также и старик Разумов из «Больного места» — тоже добрый человек. Всю свою жизнь он куры не обидел, служил всегда по сущей совести и, право, ему не за что упрекнуть себя. Аккуратный, исполнительный, нерассуждающий, он жил для своего семейства и прежде всего для единственного сына — Степы, возле которого сосредоточивались все лучшие его чувства и все вожделения. Степа выйдет умницей, Степа возвеличит род Разумовых. Старик доживает всю свою жизнь, не зная, за что и в чем упрекнуть себя, — с точки зрения формальной морали, он прав. «Что-то» однако заставило одну обездоленную мать провожать его по улице с проклятиями: «сатана, сатана, сатана», что-то заставило честного Степу кончить жизнь самоубийством, после того, как он подробнее ознакомился с прошлым своего отца.

Сатира и трагедия всегда идет рука об руку в произведениях Щедрина, и в этом случае он представляет явление исключительное во всей европейской литературе! Правда, вы найдете то же самое у Капниста—«Ябеда», у Гоголя—«Ревизор» и «Мертвые души», и у Герцена в описании малиновских нравов,—но далеко не в такой степени.

Гоголь определил юмор как видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы. Почему-то мы приняли это определение без всякой критики. Возьмите, однако, комедию Плавта и его излюбленный тип «miles gloriosus», большую часть

фигур Диккенса и бессмертного Пиквика, откормленных Грангрузье и Гаргантюа Рабле, мужиков молоросов у самого Гоголя, его Подколесина, Кочкарева, Жевакина и пр. и скажите, где тут слезы? Если я слышу их за сценой «Ревизора», в жалобе несчастной солдатской вдовы, которая сама себя высекла, если их — этих слез — так много в «Мертвых душах», в которые Гоголь вложил всю свою глубокую тоску о пустой и бесцельной человеческой жизни, поставленный с глазу на глаз с великой тайной мироздания, где он с образностью мирового гения воплотил страшное противоречие между жизнью, «как самым верным путем к смерти», и жизнью, наполненной игрой мелкого тщеславия,— то никто не заставит меня видеть этих слез ни в «Коляске», ни в «Женитьбе», ни в «Сорочинской ярмарке». Гоголь дал свое определение слишком поздно, когда его настроение было уже страшно глубоким мистицизмом, когда он искренно скорбел о жизни людей, какая бы она ни была, потому что считал ее несоответствующей по достоинству ни нравственным задачам человечества, ни его мировой роли.

Но за смехом Щедрина действительно почти всегда слышатся слезы — то бессильного сострадания, то одинаково бессильного гнева. Возьмите любую из его сказок, лучшие страницы из «Головлевых» и «Пошехонской старины», процесс дохлого пискаря, «Повесть о правде и торжествующей свинье», «Губернские очерки» и многое, многое другое, и для вас станет ясным, что в основе всего лежит тоска — не отвлеченная не мистическая грусть Гоголя, а тоска по униженном человеческом достоинстве, по этой правде, которая так жестоко запоздала своим появлением в свет. И жалость о судьбе этого бедного вороньего рода, на которого все эти хищные ястреба, соколы, копчики, коршуны рассчитывают как на «каменную гору»... О, этот бедный вороний род, обреченный на гибель и растерзание!.. И это не мужик исключительно, хотя, разумеется, мужик по преимуществу. Кадры его наполняются всеми доверчивыми, наивными душами, всеми готовыми на жертву и самопожертво-

вание во имя любви и правды. Тут и заяц, мечтающий о снисходительности и милосердии волка, и премудрый карась, ни для кого незаметно попадающий в разверстую пасть щуки, и сестры-актрисы Аннинька и Любинька, и сельская учительница, нагло обманутая каким-то либеральным прохвостом, и сотни других пискарей, корчащихся в кипятке, чтобы была действительно вкусная уха для самодовольных и самоуслаждающихся. Где, в чем эта страшная сила нравственной тупости? Почему, встречаясь с нею, намеченные роком жертвы притягиваются к ней с тою же неотразимой силой, как железные опилки магнитом, как мотыльки сжигающим их светом? Вечно занятый этим вопросом, понимая его во всей глубине, Щедрин вырастает в великую, трагическую фигуру нашей литературы. [1]).

---

[1]) Очерки из истории русской литературы XIX века. Издание „Новая Москва", 1923. Стр. 439—460.

П. И. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ

Салтыков в своих письмах

Михаил Евграфович родился в помещичьей семье, образование получил сначала в дворянском институте, а потом в Александровском петербургском лицее. Был вице-губернатором в Рязани и Твери, председателем казенной палаты в Пензе и Рязани. Достиг сравнительно высоких бюрократических постов, но все это не помешало ему быть знаменитым писателем, ответственным редактором «Отечественных Записок» после смерти Н. А. Некрасова. С 1 января 1878 г., согласно договору с Краевским, действительный статский советник М. Е. Салтыков принял на себя с званием ответственного перед правительством и судом редактора исключительное заведывание редакцией журнала «Отечественные Записки», т.-е. все заботы о содержании журнала и ответственность перед публикой, правительством и судом как за содержание, так и за направление его, приглашая по своему усмотрению товарищей по редакции и сотрудников.

Если Салтыков не угодил Краевскому, вызвал ненависть и ожесточение к себе со стороны царской цензуры, которая насиловала и ломала его талант в течение всей его литературной деятельности, то он, как мужественный обличитель неправды, пошлости и хамства в жизни, заслужил признания современников и потомства. Сорок лет он честно служил обществу на литературном посту.

Салтыковым мы зачитывались 30 лет тому назад, близок он нам и теперь. Творчество его созвучно нашей эпохе. Его мы должны изучать и пропагандировать. В его творениях много интересного и поучительного, много прекрасного в художественном отношении. В его книгах — источник высоких переживаний и эстетических отдохновений; конечно, не тех

упадочно-рафинированных, о которых так некутся многие современные эстетствующие поэты, а здоровых, светлых.

* * *

Драгоценным, ярким, блестящим материалом для политического портрета Салтыкова являются недавно выпущенные Лентизом письма писателя, охватывающие период с 1845 по 1889 гг. Это не полное собрание писем, а только «основа для будущего полного собрания», как говорится в предисловии, но и в данном виде письма представляют колоссальную культурную ценность, не только в изучении русской литературы, но и вообще в изучении нашей общественности того времени. Они читаются с таким же интересом и наслаждением, как «Господа Головлевы», «Благонамеренные речи», «История одного города», «Письма к тетеньке» и многое другое, вышедшее из-под пера Михаила Евграфовича, даже и тогда, когда это перо дрожало от жестоких физических и нравственных болей, которые его так долго и упорно мучили, превратив его в страдальца.

Мы хорошо знали Салтыкова как злого сатирика мещанской благовоспитанности, умеренности, аккуратности, с одной стороны, и безграничного хамства, циничного, оголенного до тошноты, до умопомрачения, смрадности — с другой. Мы всегда мало интересовались Салтыковым как действительным статским советником. И сейчас нас интересует не статский советник, а писатель-художник с большим общественным пониманием и с широким захватывающим размахом.

В данном случае мы не в состоянии использовать всего неисчерпаемого богатства, которое представляют письма, остановимся только на отдельных местах, которые, по нашему мнению, представляют наибольший интерес для современности.

* * *

В 1848 году Салтыков был сослан в Вятку за то, что, служа в канцелярии военного министерства, поместил без

разрешения начальства в «Отечественных Записках» два рассказа. С тех пор весь литературный путь Михаила Евграфовича был шествием сквозь цензурные терния. Это был тяжелый путь, на котором не раз выпадало из рук смоченное ядом перо, падали нравственные силы, созревало решение бросить литературу, уйти в неизвестность, но общественный темперамент, жажда борьбы, природный талант брали верх, и Салтыков мучился, истекал кровью, но писал. Он называл себя воспитанником цензуры, не раз указывал своим друзьям, что он не может писать так, как бы следовало, как он может. Отсылая свои вещи в редакцию, он почти каждый раз делал приписки, высказывал всякие опасения на счет цензурных хождений. И так более 40 лет. Более 40 лет говорить в полголоса, шопотом, под постоянными ударами, порой глупыми, бессмысленными, не нужными для защиты самодержавного режима. Какую силу воли надо было иметь, чтобы не сойти с ума! А он выдержал; задушенный, окровавленный, он шопотом, но говорил со своим читателем, которого любил безумно, за него страдал и без которого не мог жить.

Но были минуты и отчаяния. 30 июня 1883 года Салтыков писал Н. К. Михайловскому, соредактору «Отечественных Записок»: «Собственно говоря, мне почти запрещено писать, ибо ежели я в сентябре и намереваюсь попробовать опять, то это будет такая проба, которая будет только выражать, что я жив. А мне писать необходимо, да и для журнала не без пользы».

И тут же рассуждения о безнадежности: «Но вероятнее всего, что я с будущего года откажусь от редакторства. Во-первых, с двумя предостережениями журнал издавать совсем немыслимо, а во-вторых, я совсем измучен и физически и нравственно. В первом смысле, я почти потерял зрение, во втором — вижу себя до того одиноким, что страшно делается».

Все это приводило к тому, что писатель бросал начатые вещи. Они иногда требовали веселого комизма, а где его

взять, когда течет кровь и не зажили еще раны? А тут еще физические нестерпимые боли.

16 марта 1876 г. в письме к Некрасову он просит рассказ «Семейные итоги» снабдить примечанием: «М. Е. Салтыков уведомляет редакцию, что возобновившиеся болезненные припадки лишают его того расположения духа, при котором он мог бы продолжать «Культурных людей». Поэтому он присылает другой рассказ».

Лишенный возможности высказаться и в то же время сознавая, что нельзя ссылаться на цензуру, до которой нет дела ни читателю, ни критику, Салтыков горько жаловался П. В. Анненкову (письмо 1 ноября 1882 г.) на свою деятельность, не дооценивая ее: «Несмотря на мою плодовитую литературную деятельность, она оказывается не особенно плодотворной. Вещи остаются на прежних местах, и дела идут по-старому. Но чему приписать этот печальный результат (ноль!), тому ли, что моя деятельность чересчур мелка и не задевает сущности вещей, или же особенному патологическому состоянию, в котором находится русское общество».

И временами он желал бы даже все бросить и удалиться куда-нибудь в захолустье, потонуть в волнах забвения, «пропасть».

М. Е. чувствовал не только ужас, но всю унизительность своего положения. Он писал тому же Анненкову: «Но как это трудно и унизительно работать, как я работаю — вы себе представить не можете. Вообще, у меня как-то руки опускаются, и я чувствую, что скоро совсем стану втупик. Главное, утратилась вся охота к писанию. Просто думается, что вместо всякого писания самое лучшее—наплевать в глаза. А тут еще сиди да всякую форму продумывай, рассчитывай, чтобы дураку было смешно, а сукину сыну не совсем обидно. Доныне я старался и даже преуспевал в этом ремесле, а теперь надоело».

Эта драма с течением времени принимает самый трагический характер. У сатирика нет надежд на лучшее, нет спасения.

Ему, как и Некрасову, «повитому и воспитанному цензурой», оставалось «и умереть под игом ее». Так и случилось. Бюсты Салтыкова иногда убирались из общественных мест, а книги его услужливо в библиотеки не приобретались. Цензура же к нему была «исполнена ненависти и угрозы, что трудно даже издали подступиться».

После закрытия «Отечественных Записок» в 1884 году Салтыков до того был всем подавлен — и литературными делами и болезнью, — что писал Л. Ф. Пантелееву: «Я здесь живу скверно, а чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться», но у него не было физической силы.

* * *

У нас среди некоторой части литераторов-марксистов начинает укрепляться взгляд, что биография в истории литературы не только не имеет никакого значения, но еще и мешает. Мы недоумеваем, как бы они проделали всесторонний анализ творчества Салтыкова, не имея его автобиографических писем. Последние на многое проливают свет, что раньше было неясно, было под сомнением. В свете этих писем фигура Салтыкова становится и величественнее, и трагичнее, и ближе нам, участникам пролетарской революции.

* * *

Салтыков, как Добролюбов, Чернышевский, Некрасов и другие представители шестидесятых годов, смотрел на литературную деятельность, как на общественное служение; он хотел глубже заглянуть в сущность тогдашней жизни и ярче, назидательнее для читателей ее передать, не боясь высказывать своей идеологии разночинца. Как многому можно поучиться у него современным писателям: и пролетарским и так называемым попутчикам. Первые научатся у него находить темы, материал для художественной обработки и перевоплощения и даже формы обработки; вторые, если им не помешает мелкобуржуазное существо поймут, что

идеология в литературе, хотя бы и строго определенная, классовая, не только не убивает художественности произведения, но поднимает его на высоту. Блестящим, наглядным и убедительным примером служит Салтыков. Ценность художественного произведения сатирик видел не в простом воспроизведении жизни, на манер Боборыкина, которого он совершенно не ценил, а в правде жизни. Правду же он искал и видел в самой глубине, — не на поверхности, а в сущности вещей, которая почти всегда и долгое время бывает скрыта от широких масс.

* * *

Послушайте, что он пишет об И. С. Тургеневе П. В. Анненкову: «Какое, однако, слово Тургенев выдумал: «нигилисты»—всякая собака им пользуется. Во Франции есть, впрочем, другое слово: «коммунар», тоже не без значения». Какой яд! И сколько политического скрытого смысла в сопоставлении слов — нигилист и коммунар.

Еще жестче о «Нови». «Лица консервативной партии (Сипягин, Калломейцев) описаны с язвительностью, напоминающей куаферовское остроумие. Коли хотите, оно и недурно, и остро, но странно как-то: чувствуется, что вы сидите в куаферской, и ловкий француз, заглядывая вам в глаза, старается насмешить вас насчет того лица, которое за пять минут перед тем сидело в том же кресле, подвергалось тому же процессу стрижки и завивки и пользовалось той же куаферской любезностью» [1]).

Щедрин требовал ясности и определенности во взглядах на партии и на людей, к ним принадлежащих. Он не хотел для себя «той кауферской любезности». И не мог органически понять, как ее можно распространять и на тех и на других, если стоишь хоть сколько-нибудь выше обычаев и нравов парикмахерской.

«Что касается до так называемых «новых людей», — продолжает Салтыков, — то описание их таково, что хочется

[1]) Курсив мой Л. П.

сказать автору: старый болтунище! ужели даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья? Перечтите паскудные сцены переодевания, сжигания писем, припомните, как Нежданов берет подводу и вдруг начинает революцию; как идеальный Соломин говорит: делайте революцию, только не у меня во дворе... Все это можно писать, лишь впавши в детский возраст».

Тургенев, человек 40-х годов, в новом движении, как в народническо-революционном движении, так и в «нигилизме», подсмотрел только внешнюю сторону, да и то больше с отрицательной стороны, мы не говорим о сознательном искажении отдельных явлений, — в «сущность вещей» он не в состоянии был проникнуть. И за это Салтыков «вполне искренно и помимо всяких соображений» убивает его силою своей мысли и ядом своего слова. Он указывает, «что многим приходит в голову, что любимое детище Тургенева—это Паклин. А это уж очень некрасиво». Чего, конечно, красивого променять Добролюбова и «Современник» на Паклина.

Через месяц, опять в письме к Анненкову, Салтыков, продолжая свою мысль о Тургеневе, сообщает: «А у нас, между тем, политические процессы своим чередом идут. На-днях один кончился (вероятно, по газетам знаете) каторгами и поселениями, только трое оправданы, да и тех сейчас же спровадили в места рождения. Я на процессе не был, а говорят, были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. Повидимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, как полагает Ив. Серг.».

Салтыков указывал в данном случае на процесс 50-ти. Видно, как он настойчиво думал. Видно, что он не только прекрасно сознавал заблуждение Тургенева, его расхождение с жизнью, но и сразу улавливал всякую фальшивую ноту, хотя бы она как-будто и была созвучна времени.

В январской книжке «Вестника Европы» за 1876 год появился рассказ Тургенева «Часы». Как реагировал сатирик?

«При моей впечатлительности и нервности, я весь трясусь

от негодования по поводу «Часов». Какое-то желание есть подвильнуть хвостом перед молодежью изображением Давида, но исполнение таково, что всякий поймет, что тут ничего нет искреннего... Тургенев писатель субъективный, и то, что не выливается прямо, выходит у него плохо. Нет около него никого — оттого он и уснул. Нет никого, кто бы вызывал его на споры и будил его мысль. В этом отношении разрыв с «Современником» и убил его. Последнее, что он написал — «Отцы и дети», было плодом общения его с «Современником». Там были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя самого. Теперь впереди скопец Стасюлевич, о котором совестно говорить, что с ним имеешь дело».

У Салтыкова, как видит читатель, такая ясная осознанность современного ему положения, которой может позавидовать даже иной современный историк литературы.

* * *

У нас сейчас часто негодуют на пролетарскую молодежь, когда она слишком к сердцу принимает выпады отдельных писателей против революционной современности или страстно реагирует на их глубокое непонимание, сопровождаемое развязностью. Их просят быть благовоспитанными людьми. Но как бывает это трудно, когда тебя берут за живое, можно судить по письмам Михаила Евграфовича.

* * *

Однажды Тургенев пригласил Салтыкова послушать новую комедию Соллогуба. Он поехал, «не без основания полагая, что будет читаться какая-нибудь глупость вроде «Беды от нежного сердца», и никак не полагал, что Соллогуб позволит себе привлечь его к слушанию какой-нибудь подлости. Но оказалось, что Соллогуб не имеет никакого понятия о том, что подло и что не подло. «В комедии — пишет Салтыков, — действующим лицом является нигилист-вор. Можете себе представить, что сделала из этого кисть Соллогуба? Со мной

сделалось что-то вроде истерики. Не знаю, что я говорил Соллогубу, но Тургенев сказывает, что я назвал его бесчестным человеком. Меня прежде всего оскорбил этот богомаз, думающий площадными ругательствами объяснить сложное дело, а во-вторых, мне представилось, что он эту комедию будет читать таким же идиотам, как и сам, и что эти идиоты (Тимашев, Шувалов [1]) и т. п.) будут кричать: «Charmant!». И если бы вы видели самое чтение: он читает и сам смеется и на всех посматривает. И Тургенев, как благовоспитанный человек, тоже улыбается и говорит: «да, в этом лице есть задатки художественного характера».

У нас есть еще Соллогубы, есть и Тургеневы. Да будет для них Салтыков примером. Уж если сердце действительно статского советника не выдерживало, то как требовать «благовоспитанности» от пролетарского сердца, когда современный Соллогуб рисует большевика в виде разрушителя культуры, а революцию сводит к половому вопросу!

Михаил Евграфович в таких случаях был весьма откровенен. Он говорил и о «литературно-политических нужниках», и о «скопцах», и о «регистраторах» от литературы, и о собачьих привычках стоять, поднявши заднюю ногу. Какой ужас! Какая неблаговоспитанность! А нам какая прямота нравится. Она, правда, не всегда удобна, но это другое дело. Тут уже каждый поступает по своим соображениям. Кто предпочитает лизать... а кто принимать удары.

* * *

Почувствовал неверные ноты Салтыков и в идеологии Л. Толстого. Почувствовал и сумел сделать некоторое политическое обобщение. Он писал П. В. Анненкову: «Вероятно, вы... читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детор. частей [2]). Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру

[1]) Бывший шеф жандармов и управляющий III отделением.
[2]) Речь идет о романе „Анна Каренина".

безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется, это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя».

Салтыков сразу уловил политическую сущность и значение романа. Он не был пленен художественной стороной дела, как это нередко бывает в наши дни. Он умел литературу и жизнь рассматривать как нечто единое, целое. Для него литература была не простым отражением или познанием жизни, а одновременно тем и другим и, главное, средством, исправляющим людей и жизнь. И только утопический социализм, в который он веровал, да то время не позволили ему продумать эту мысль до конца, чтобы притти к более или менее близкому к марксизму взгляду.

В другом письме, к Н. К. Михайловскому, ровно через десять лет, он снова возвращается к Л. Толстому, высмеивая его наивно-вредные политические теории. Попутно захватывает он и Г. И. Успенского.

«О Толстом вы тоже правильно пишете. Но Скабичевский всплакнул-таки в «Русских Ведомостях». Я, признаться, написал ему по этому поводу, что Толстой не более, как Кобеня, но он не совсем согласился со мной; помилуйте, говорит, ведь, он совегует самим выносить из урыльников. Хорошо, коли у кого урыльники есть, а вот у мужичков и этого нет. И рад бы выносить (в огород бы он снес), да приходится прямо на куст паскудить. А между тем, и Толстой и Успенский только и бредят мужичком: вот, мол, кто истинную веру нашел.

И, ведь, какой хитрый этот Толстой: на прежнюю свою деятельность литературную, как пес на блевотину, смотрит, а деньги за издание этой блевотины хорошие».

Салтыков, конечно, ни на минуту не отрицал известных художественных достоинств ни Толстого, ни Тургенева, ни многих других, но он всегда подходил к произведению, связывая его с жизнью, устанавливая внутренние связи между

действительностью и творчеством писателя. Он хотел, чтобы литература была нравственным бродилом, «учебником жизни». Конечно, сатирик не был безразличен к форме произведения, наоборот, он много внимания уделял ей, хорошо ее понимал и чувствовал, но она не затемняла содержания произведения и не полонила Салтыкова.

Вся культурная Россия с чувством читала «Дворянское гнездо», увлекалась им, особенно художественной стороной. А вот какие настроения вызвал этот роман у Салтыкова. Правда, в его суждениях нет той резкости, с которой он судил о Толстом; очевидно, Тургенев своей поэзией все же смягчал его жесткий стиль, но по существу суждения о Тургеневе убийственны.

«Да и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева, — пишет он Анненкову. — То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется. Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора. Но, ведь, это будут только общие места, а это, именно [1]) это впечатление оставляет после себя эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющие живым ключом и однакож все-таки пропадающие в пустом пространстве. Но чтоб и эти общие места прилично высказать, надобно самому быть поэтом и впадать в лиризм. Герои Тургенева не кончают своего дела, они исчезают в воздухе. Критику нельзя их уловить, потому что их нельзя держать, как героев Писемского. Поэтому-то хоть о Тургеневе и много писали, но не прямо об нем, а лишь по поводу его. Сочинения его можно характеризовать его же словами, которыми он заключает свой роман: «на них можно только указать и пройти мимо».

Со своей просветительской точки зрения Салтыков был во многом прав в суждениях о Тургеневе. С нашей, марксистской, — он, конечно, глубоко ошибался. Произведения Тургенева остаются и до сих пор наилучшим источником

1) Особенность орфографии Салтыкова.

изучения «дворянских гнезд» его времени. Поскольку марксистская критика не навязывает писателю тем, сюжетов и идей, а анализирует и объясняет то, что у художника создалось в силу его свободного творчества, нельзя например, требовать, чтобы герои Тургенева обязательно кончали свои дела, да еще так, как хотелось бы Салтыкову.

Салтыков был шестидесятник и шел в ногу с разночинцем, Тургеневым — человек сороковых годов, кающийся дворянин. И напрасно Салтыков негодует, силясь подтянуть Тургенева к себе.

Тут же мы хотим отметить, что Михаил Евграфович, несмотря на свое критически-отрицательное отношение к Тургеневу, соглашается с Михайловским, «что если бы он даже ничего больше не написал, то и в таком случае он был нужен для литературы, имя его было нужно, присутствие».

Резко отзывается он и о Писемском, говоря: «Писемский как ни обтачивает своих болванчиков, а духа живого вдохнуть в них не может. От художников наших пахнет ябедой и семинарией; все у них плотяно и толсто выходит, никак не могут форму покорить. После Тургенева, против этих художников некоторое остервенение чувствуешь».

Как видит читатель, Салтыков обладал тонким художественно-критическим чутьем. Его трудно было обольстить какой-либо одной стороной произведения, содержанием или формой. Он умел оценить то и другое в отдельности и произведение в целом с точки зрения его общественного значения.

Как тонко Салтыков мог разбираться в последнем, как глубоко он анализировал идейную сущность произведения, показательно можно судить по иронической генеалогии Г. Успенского. Дед его — Сюсляев — «мужичок такой в Новоторжском уезде есть, который всех московских праздномыслов с ума свел» (В. К. Сютаев), отец — Л. Толстой, дядя — Златовратский и брат — Тибо Бриньоль, реакционный публицист того времени.

Эта генеалогия поистине изумительна. Мы ни в какой

мере не собираемся умалять значения Г. Успенского, мы его глубоко любим и не можем не любить, но это не мешает нам признать в Салтыкове ту глубину и остроту мысли, с которой он вскрыл элементы мировоззрения писателя и показал, что это мировоззрение может родниться даже с реакционером Бриньолем.

Подметил это Салтыков и у Михайловского, ядовито спрашивая его: не под вашим ли влиянием пишет Успенский? И потом строго добавляет: «Но, право, я до сих пор не полагал, что ваша критическая деятельность может иметь какое-нибудь отношение к Сюзяевскому мировоззрению».

Не нравился Михаилу Евграфовичу «Обломов». Он с увлечением говорил о «сне Обломова», но весь роман находил растянутым, а посему и скучноватым.

С подобной же точкой зрения Салтыков подходил и к западно-европейской литературе. Начитался он Золя и Гонкуров и пишет: «Возненавидел я этих др...л, которые ни до чего дод...ться не могут. Извините, что я так выражаюсь. Дикенс, Рабле и проч. нас ставят прямо лицом к лицу с дивными образами (курсив мой *Л.-П.*), а эти жалкие др...лы нас психологией потчуют. Трудолюбивы, должно быть, анафемы. Не едят, не пьют — все пишут и зачеркивают, и нанизывают без конца. Это не романисты, а пакостники».

«Лицо жизни» всегда перед сатириком.

«Благовоспитанные» люди держатся строгого правила: о покойниках не говорят ничего или говорят только хорошее. Салтыков, как известно, враг «благовоспитанности» и «умеренности», поэтому свои мысли о писателях, даже и умерших, он высказывал со всей неприкрытой откровенностью. Образец — некролог беллетристу Авдееву.

Авдеев, Михаил Васильев. Духом вольноотпущенный. Будучи крепостным, пел на манер Рубини, играл на скрипке на манер Контского и готовил котлетки на манер пожарских. Впоследствии приобрел привычку собак у каждого столбика по...ть. Об...л Лермонтова, об...л Тургенева, задумал об...ть

Льва Толстого, но смерть застала его в этом намерении. Мир праху твоему, добрый человек!».

И ниже автор эпитафии добавляет: «Я думаю, что это и справедливо, и прилично. Скабичевский на эту тему написал бы три статьи по четыре листа каждая, и все-таки нельзя было бы понять, кто кого об...л. А я люблю писать коротко, справедливо, ясно и прилично. Оттого и нравлюсь... иногда».

* * *

Перейдем от мыслей о литературе, все равно их не исчерпаешь, к другой стороне «Писем».

В них богатый материал о политических настроениях Салтыкова, о его нравственном облике.

Когда до него дошел слух, что Тургенев сомневается в его нравственных качествах, он писал Анненкову: «Прошу вас передать, что у меня еще довольно есть в душе стыдливости, чтобы не выставлять на позор свои собственные г..., и что он напрасно смешивает меня с Павлом Ивановичем Чичи-Мельниковым. Обзирая свое прошлое, я, положа руку на сердце, говорю, что на моей совести нет ни единой пакости, нет даже гнусного каяния флигель-адъютантству, самого гнусного из всех гнусных каяний.

«Может быть, вам не нравится моя раздражительность. Но, ведь, не всякому дается в удел благодушие».

Чтобы уловить всю соль письма, не надо упускать из виду, что писатель Мельников, притеснявший старообрядцев в качестве чиновника, идеализировал их в своих произведениях; Тургенев же любил генеральствовать и был падок на курение перед ним фимиама, был страшно честолюбив.

Салтыков клеймит политически реакционного Каткова, Самарина, осмеивает декабристов, которые «примиренные приезжают на родину и насвистывают «боже, царя храни» вроде того, как Бабурин пел». И противопоставляет им Петрашевского и Чернышевского, поднявшегося духом и мыслью над всеми надругательствами и издевательствами, потому что «он знает, что так должно быть».

Клеймит он газеты «Голос» и «Новое Время». «Голос» представляется ему изящно-убранной гостинной перед этим «литературно-политическим нужником».

Попадает «Русской Мысли», «Вестнику Европы» и даже «Отечественным Запискам». «Вестник Европы» б...т постоянно, но потихоньку, «Отеч. же Зап.» б...т не всегда, но ежели б...т, то на славу».

«Стасюлевич имеет вид старого переплета, из которого выдрали заключавшуюся в нем книгу».

Достается от Салтыкова «и так называемому культурному слою». После Бадена он пишет Анненкову: «В России я знаком был только с обрывками этого слоя, обрывками, живущими уединенною жизнью и не показывающимися на улице. В Бадене я увидел целый букет людей, довольных своею праздностью, глупостью и чванством».

«Это бессмысленное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам — ужасно много портят крови».

Зато отдыхает Салтыков, когда Тургенев водит его по выставке картин. «А есть именно хорошие. Одна есть женщина из народа, собирающая камни на берегу моря — забыть нельзя».

Велика у него была ненависть к барству и велика была любовь к простому народу.

И под конец жизни у этого человека выбили из рук его перо. «Помилуйте, — писал он, — ведь я и под псевдонимом не могу пройти — — узнают. Да и не прилично уж мне, после 40 лет деятельности, переменять характер ее», отвечает он, когда ему предлагают заняться бытовыми очерками.

Письма Салтыкова — драгоценнейшее наследство.

В свете их раскрывается вынужденный эзоповский язык его изумительных сатир, глубоких по идейному содержанию, не увядаемых по общественному значению, прекрасных по художественному замыслу и выполнению.

Ярче будут сверкать драгоценные алмазы его творчества, освещая закоулки нашей жизни [1]).

---

1) „Воинствующий Материалист" № 4. Июнь 1925 г.

В. Е. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ

В тисках реакции

Одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту историю во всех подробностях на страницах „Русской Старины“ прочту. Я-то, впрочем, пожалуй, не успею прочитать, так все равно - дети прочтут.

М. Е. Салтыков („Письма к тетеньке“).

В одной из заключительных глав «Писем к тетеньке», напечатанных в начале 1882 г. в «Отеч. Записках», М. Е. Салтыков-Щедрин, отвечая на неоднократно предъявляемые ему обвинения во «вредности», так определяет сущность своего литературного служения: «неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустословия и т. д. Ройтесь, сколько хотите, во всей массе мною написанного — ручаюсь, ничего другого не найдете»... Нет надобности распространяться, что упоминаемые здесь сатириком отрицательные явления русской жизни не были случайными на фоне современной ему общественной действительности. Они представляли собою порождение господствовавшего в те времена социально-экономического и политического уклада, при чем с начала 60-х годов вплоть до смерти Салтыкова не только не обнаруживали тенденции к уменьшению, а, наоборот, непрерывно возрастали. Учитывая непрерывность этого роста, Салтыков в тех же «Письмах к тетеньке» говорит: «двадцать лет сряду «все хуже никогда не бывало». Не успеешь докончить восклицание — ан опять приходится сызнова начинать. И сравнивать даже не зачем: не бывало хуже — вот и все. И прежде, и после, и теперь

всегда!» Двадцать лет тому назад, т.-е. с 1862 г., началось, по Салтыкову, «ухудшение» и идет crescendo. Так это было и на самом деле: чуть ли не с самого 19 февраля 1861 г. реакция подняла голову и, встречая все более и более благодарную почву в настроениях царя, придворно-аристократических верхов, землевладельческого класса, а временами и в настроениях с поразительной быстротой формировавшейся буржуазии, мало-по-малу вступила на путь последовательной ликвидации того, что было сделано в области обновления русской жизни в первые годы царствования Александра II, несмотря на то, что сделанное не возвышалось над уровнем умеренно-либеральных, нередко весьма и весьма половинчатых реформ, предпринятых под давлением процесса, с неудержимой стремительностью переводившего Россию из одной хозяйственной фазы в другую. Особенно заметным стало торжество реакции после каракозовского выстрела (4 апреля 1866 г.), когда «ташкентцы, обратившиеся внутрь», ввели в обиход самый возмутительный произвол и самые вопиющие нарушения законов под предлогом борьбы с крамолою.

К этому времени Салтыков окончательно порвал с чиновничьей службой (14 июня 1868 г. он вышел в отставку с должности управляющего Рязанской казенной палатой) и переселился в Петербург, чтобы окончательно посвятить себя журналистике. Михаил Евграфович по своей натуре принадлежал к людям, не умеющих отдаваться чему-либо наполовину: если в 1866 г. он напечатал всего одно произведение («Завещание моим детям», «Современник», № 1), а в 1867 г. — ни одного, то с 1868 г. на страницах «Отеч. Записок» его произведения начинают появляться из книжки в книжку. В 1869 г. Салтыков меняет положение сотрудника этого журнала на положение одного из членов редакционного триумвирата, не перестав, конечно, быть деятельнейшим его сотрудником, и благодаря этому нити, связывавшие его с «Отеч. Записками», становятся еще крепче, еще прочнее.

Из сделанных выше фактических указаний явствует, что

особенно интенсивный характер литературная деятельность Салтыкова приобрела как-раз тогда, когда реакция не только подняла голову, но уже составляла основной фонд общественной жизни. Следовательно, салтыковский «протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустословия» и подобных им явлений, особенно пышным цветом распускающихся в реакционные эпохи, был особенно нужен с точки зрения интересов современной общественности, но в то же время сопряжен с наибольшими трудностями в его гласном выражении, с наибольшим риском для протестующего. Ни эти трудности, ни этот риск не испугали Салтыкова. Как опытный искушенный долговременным сотрудничеством в русских журналах и в годы, когда существовала предварительная цензура, и после ее отмены (г.-е. с осени 1865 г.), писатель, он в широких размерах прибегал к тому средству, которое, несмотря на свои заведомо отрицательные и даже мучительные стороны, все же оставалось единственным и незаменимым. Это средство—пресловутый «эзоповский язык», благодаря которому, даже в периоды наибольшего угнетения печатного слова, русским писателям, нет-нет, да и удавалось провозить в своих произведениях контрабанду вольных мыслей и идей. Салтыков—один из лучших, если не лучший мастер «эзоповского языка». Со свойственной ему суровой прямотою он говорит об этом в «Круглом годе» (1879 г.): «моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту очень значительной части произведений русского искусства, и я лично тут ровно ни при чем... Она нимало не затемняет моих намерений, а, напротив, делает их только общедоступными». Заключительные слова нуждаются в некотором пояснении. Эзоповский язык делает ав-

торские намерения общедоступными, конечно, только в том смысле, что дает возможность затронуть в иносказательной форме вопросы, которых нельзя было касаться прямо. Но по существу своему, всякий «эзопизм», всякое иносказание несколько затемняет смысл, делает сплошь да рядом авторскую мысль не вполне понятной. Особенно это дает себя чувствовать, когда уже прошло известное время после написания данного произведения. Те произведения, о которых в данном случае идет речь, или относятся к области чистой публицистики или стоят на грани публицистики и художественного творчества. Как таковые, они теснейшим образом связаны с современностью, а потому понимание их, несмотря на уснащенность эзопизмами, не представляет особых затруднений для читателей, когда то, о чем они говорят, у всех, если не на устах, то на сердце. Другое дело, когда читатели отделены от произведения промежутком времени настолько длинным, что вопросы, события, лица, затрагиваемые в нем, перестали уже быть вопросами, событиями и лицами современности. Нет никакого сомнения, в том, что Салтыков очень хорошо сознавал, что его произведения сильны именно своею связью с современностью.

«Писания мои, — читаем мы в «Круглом годе», — до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности». С другой стороны, Салтыков вполне уяснил себе и то, что раз уж современным читателям приходится прибегать к «угадыванию смысла» его произведений и комментировать их, то «детям и внукам» «без комментариев шагу ступить будет нельзя, так как все в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель предстанется человеком назойливым и без нужды неясным» («Письма к тетеньке»)... В общем Салтыков, конечно, прав в этих самых суждениях, но кое-что в них все же нельзя не отнести на долю его излишней скромности.

Едва ли приемлемо его утверждение, что его произведения имеют в настоящее время только ту ценность, что иллюстрируют его, уже отошедшую от нас во мрак времен, современность. В мои намерения не входит сколько-нибудь подробный литературный анализ произведений великого сатирика. Тем не менее не будет излишним еще раз напомнить, что большинством представителей русской критики давно уже усвоено мнение, что лучшие творения Салтыкова на многие годы пережили свое время в силу своей высокой художественной ценности. И язык, и стиль, и образы их, при всей своей своеобразности, носят на себе печать несомненной, хотя, быть может, не совсем обычной красоты. Правда, трудно отрицать, что иногда публицист побеждает в Салтыкове художника, но сплошь да рядом сочетание публицистического и художественного элементов образуют такое непередаваемо гармоническое, только Салтыкову присущее, сочетание, что о Салтыкове и можно и должно говорить, как о создателе совершенно особого литературного жанра, способного и теперь, по истечении нескольких десятилетий, производить чисто художественное впечатление.

А эмоциональность, проникающая сверху до низу все писания Салтыкова, разве она «не потрясает сердца» и современного читателя? Источник этой эмоциональности, опять-таки настолько своеобразной, что она не имеет прецедентов в русской литературе, — в тех «болях» от созерцания многочисленных несовершенств современной действительности, «которые, непрерывно возобновляясь, сделались, наконец, главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности» («Приключение с Крамольниковым»). «И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других»... (там же).

Излишне скромен Салтыков также и тогда, когда утвер-

ждает, что все в его писаниях покажется будущему читателю неестественным и невозможным. Наша эпоха очень далеко отошла от салтыковской, и многое, имевшее полную актуальность тогда, теперь способно показаться созданием расстроенного воображения, многое, но не все... Было бы непростительным самообольщением думать, что созданные мастерскою кистью сатирика образы слабодушных и невежественных российских обывателей, хищных буржуа, легкомысленных «помпадуров», неистовых «ташкентцев» и т. д. и т. п. совершенно отжили. Конечно, изменились обличья, но сущность нередко осталась та же. Однако, и изменения в обличьях во многих случаях достаточно, чтобы сделать необходимым комментарий, без которого современный читатель, действительно, многого не поймет, во многом не разберется... Впрочем и здесь необходимо весьма существенное ограничение: среди творений Салтыкова не мало найдется таких, которые и в наши дни не требуют никакого комментария. Достаточно назвать «Господ Головлевых», «Пошехонскую старину», многие из «Губернских очерков», из «Сказок» и т. д.

Вот те соображения, которые, думается, позволяют говорить о Салтыкове как о писателе, далеко не отжившем для *нашей* современности. Для *своей* же современности он является одной из самых заметных литературных фигур прежде всего, благодаря уже отмеченному выше неукротимому духу *протеста*. Протест этот было бы, конечно, совершенно неправильно приравнивать к отрицанию ради отрицания, в чем Салтыкова нередко упрекали критики враждебного ему лагеря. Он знал об этих упреках, они, повидимому, несколько задевали его. Вероятно, не без их влияния сатирик не однажды заговаривает о своем «знамени». Здесь опять-таки не место сколько-нибудь подробно характеризовать это последнее, тем более, что вопрос о знамени Салтыкова с достаточной подробностью освещен в целом ряде работ, начиная со статей К. Арсеньева, напечатанных еще при жизни сатирика, продолжая исследованиями В. И. Се-

мевского и Вл. Кранихфельда и кончая совсем недавними очерками Н. В. Яковлева. Но все же в работе, подобной нашей, трудно обойтись хотя бы без самой краткой формулировки того, в чем заключалась сущность общественного «символа веры» Салтыкова. Подпочву общественных взглядов Михаила Евграфовича, бесспорно, составляли идеи социализма. Фурьерист и сенсимонист смолоду, он и впоследствии не перестал сочувствовать основным принципам социалистической доктрины. Об этом можно судить хотя бы по такому сравнительно позднему произведению его, как «Мелочи жизни» (1886 г.). «Старинные утописты, — говорит здесь Салтыков, — были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основания должны быть даны новые и что только при этом условии человечество освободится от удручающих его зол»... Какие же это «основания»? Ответ на этот вопрос содержится, между прочим, в рассказе «Пошехонские реформаторы». Вложенный в уста доморощенному «реформатору», богомолу и самоучке, он приобретает специфически русскую окраску, но тем не менее его социалистическая сущность вне всяких сомнений. Андрюша Курзанов, проповедуя необходимость «жить по-божески», в это понятие вкладывает такое содержание: это значит — «тебе кусок, и ему кусок, и всем прочим по куску»; далее, «чтобы ни рабов, ни данников, ни кабальных людей, ничего такого чтоб не было; все в равной друг с другом любви должны жить; я тебе послужу, ты — мне»; наконец, «душу свою за други свои полагать надо»... Из этой формулы, за которую несчастному Андрюше, «яко потрясателю основ», пришлось сначала претерпеть процесс «измочаливанья» с помощью начальнического костыля, затем долгие месяцы «сидеть в кутузке» и, в довершение всего, подвергнуться административной высылке, определяемой автором выразительным словечком: «фюить!» — не трудно вывести основы социалистической идеологии: здесь и равномерное распределение земных благ, и трудовой коллективизм, и общественная солидарность. Эти основы, без сомнения,

входили в салтыковскую программу-максимум, которую, однако, благодаря общим условиям тогдашней действительности, он лишен был возможности сколько-нибудь последовательно и систематически проводить в своих произведениях. Вот почему, наряду с программой-максимум, он должен был выработать нечто в роде программы-минимум, которую в своем автобиографическом «Имя реке» определяет словами: «свобода, развитие и справедливость», поясняя их в дальнейшем таким образом: «свобода — как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку; развитие — как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности; справедливость — как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания»... Хотя эту программу нельзя не признать в достаточной степени скромной, а главное абстрактной и в силу своей абстрактности несколько расплывчатой, однако, борьба за нее, которую Салтыков вел и в годы своей чиновничьей службы и тем более в качестве писателя, заставила его взять на свои плечи «бремена неудобоносимые». С одной стороны, его часто преследовали мучительные думы о том, что он делает мало, и не то, что надо, с другой — «гнусная рассейская действительность», которую он так беспощадно обличал, не уставала ему весьма ощутительно напоминать, что он — «вредный, вредный, вредный» и, как таковой, должен ожидать различных «скорпионов». Нельзя не признать, что Салтыков на своем веку издал их не мало. И с необычайной скоропалительностью осуществившаяся ссылка его в Вятку, и окончательная отставка со службы по личному желанию царя, и бесчисленное множество уколов то мелких, то довольно-таки чувствительных со стороны цензуры, уколов, происходивших в атмосфере почти не прекращавшихся слухов о грозящих ему обысках, административных высылках, и в особенности запрещение «Отеч. Записок», — без сомнения, самый тяжкий из ударов, обрушившихся на голову Салтыкова в течение его жизни, — разве это в своей совокупно-

сти не свидетельствует, как дорого далось Салтыкову его общественно-литературное служение? Удивляться этому не приходится! Ни в чьих, конечно, произведениях не были заклеймены более беспощадно властные хозяева исторической сцены эпохи 60-х — 80-х годов, — бюрократия, дворянство и нарождающаяся буржуазия, — чем в произведениях Салтыкова. Не было среди его современников писателя, который с большей бы энергией, пользуясь грозным оружием смеха, умел давать отпор тем диким и безудержным реакционным шквалам, которыми так богата история русской общественности за 2-ю половину XIX в. Немногие из наших общепризнанных народолюбцев превосходят его проникновенно-любовным отношением к мужику, неизбывное трудолюбие которого, на ряду с безмерной угнетенностью, он воплотил в образе «Коняги», окруженного сонмищем тупеядствующих «Пустоплясов», при чем это проникновенно-любовное отношение, к великой чести Салтыкова, умевшего итти своею дорогою, хотя бы она расходилась с путями большинства, абсолютно лишено ложной идеализации, сентиментального любования.

Целью высказанных, по необходимости кратких, замечаний было дать общую характеристику Салтыкова, как писателя-гражданина. Обойтись без этой характеристики в работе, в части, посвященной изображению той борьбы, которую вело с ним цензурное ведомство,—мне казалось решительно невозможно, потому что цензурные аргусы видели прежде всего в Салтыкове писателя известного общественного устремления, и это устремление определило их отношение к его писаниям. Следя за той, из года в год усиливавшейся, травлей, которой подвергался с их стороны великий сатирик, мы не только вписываем не лишенную значения страницу в его биографию, не только проливаем свет на ту атмосферу, в которой протекало его общественно-литературное служение, но и подводим итог тому, как оценивали его деятельность во враждебном ему лагере те, кто свою главную обязанность видели в ограждении читательской массы

от проникновения в нее идей, признаваемых предосудительными с точки зрения тогдашнего государственного и общественного порядка. Подведение такого итога даст возможность судить о тех именно сторонах общественного миросозерцания Салтыкова, которые возбуждали наибольшие опасения среди чиновных «охранителей». Здесь не лишнее будет упомянуть о тенденции, нашедшей себе отражение в целом ряде историко-литературных работ,—представлять деятелей цензурного ведомства чуть ли не абсолютно неспособными разбираться в том литературном материале, который им приходилось рецензировать, иногда даже до смешного тупыми и глупыми. С именами целого ряда цензоров, особенно с именами Бирукова, Красовского, отчасти Фрейгана, повелось соединять ряд более или менее комических подвигов, в которых нашла себе отражение и их сугубая ревность в борьбе с потрясателями основ и крайняя степень тупоумия и глупости .Тенденция эта кажется мне не совсем правильной, поскольку речь идет о той отдельной эпохе, в которую действовали названные цензоры и их сотоварищи, и вовсе уже неправильной, если говорить о последующем периоде, ознаменовавшемся ограничением пределов действия предварительной цензуры и переходом к системе административных репрессий, периоде, начало которого нужно считать с введения в жизнь нового закона о печати, т.-е. с осени 1865 года. И в этот период, конечно, не перевелись в практике цензурного ведомства факты, сбивавшиеся иной раз на смехотворный анекдот; и в этот период среди цензоров иной раз, появлялись настоящие монстры, но, вообще говоря, и практика цензурных органов и большинство их деятелей подверглись процессу «европеизации». Во всяком случае, цензоры последних четырех десятилетий XIX века, среди которых мы, время-от-времени, видим писателей со всероссийскими именами, каковы Гончаров, Тютчев, Майков, Полонский, в значительной своей части, были людьми с образованием, достаточно компетентными, если не для того, чтобы правильно судить о достоинствах того или другого литера-

турного произведения в целом, то для того, чтобы более или менее верно определять его общественную тенденцию. Сказанное отнюдь не должно понимать в том смысле, что моральный уровень цензурных чинов повысился. Служба в царской цензуре, по самому существу своему,—неопрятная служба, ибо в условиях тогдашней действительности цензор непременно должен был быть охранителем, должен был выработать в себе уменье «читать в сердцах», что в многих отношениях сближало его с сотрудниками того учреждения, которое в просторечьи называлось «охранкой». Понятно, что сколько-нибудь высокий моральный уровень и служба в цензуре обычно являлись вещами друг с другом несовместимыми. И действительно, автор настоящих строк, имевший случай ознакомиться со многими десятками цензурных дел как-раз периода с 60-х годов по 90-ые годы включительно, должен констатировать, что в них на ряду с угодничеством цензоров перед высшим начальством и готовностью их ослаблять или увеличивать свое рвение в борьбе с «неблагонамеренными писателями» и изданиями сообразно с настроениями «сфер», ярко запечатлелись крайняя их придирчивость в связи с тенденцией уловлять «предосудительный смысл», постоянная склонность, в случае возможности двойственного толкования, предпочитать толкование не в пользу литературного произведения, умение досаждать определенным лицам и изданиям с помощью бесчисленного множества мелких уколов и т. д. И все это, само собой разумеется, на основе полного неуважения к литературе и журналистике, в которых цензора видели, за некоторыми исключениями, враждебную, оппозиционную силу... Иногда, конечно, среди деятелей цензуры появлялись люди более либерально и благожелательно настроенные, но их положение было очень трудное, и им редко удавалось долго продержаться на службе. Общеизвестны факты увольнения либеральных цензоров, в роде Крузе, Бекетова и некоторых других. Даже Гончаров, этот заядлый противник нигилизма, ожесточенный гонитель «Русского Слова» и Писарева, даже он, совмещая обязанности

цензора с писательством, связывавшим его с литературой вообще, чувствовал себя не в своей тарелке и, выслужив генеральский чин и пенсию, поспешил уйти в отставку. Таким образом, Салтыкову, как активному деятелю современной литературы, как редактору наиболее авторитетного и популярного из передовых журналов той эпохи, пришлось столкнуться, в лице цензуры, с противником не только страшным своею враждебностью и неразборчивостью в средствах, но и не так уж плохо вооруженным интеллектуально, во всяком случае, отлично набившим себе руку по части проникновения в авторские намерения, хотя бы затушеванные при помощи эзоповских языка и приемов, в целях выявления «неблагонамеренных» мыслей и «предосудительных» идей. Борьба Салтыкова с этим противником в 70-ые и 80-ые годы приобретает поистине повседневный характер, служа в то же время источником мучительнейших душевных переживаний; временами она заставляет сатирика изощряться во всевозможных эзопизмах, временами, как это ни грустно, накладывает на его уста в отношении некоторых тем и вопросов печать молчания и тем самым уродует, а иногда и вовсе обрывает процесс его творческой работы [1]).

---

1) В тисках реакции. ГИЗ. 1926. Стр. 19—29.

М. П. НЕВЕДОМСКИЙ

Народник-ли Салтыков-Щедрин?

Я не раз зачислял в лагерь народников Щедрина, а привычное воззрение на него совершенно противоречит такому трактованию этого писателя. В самом деле, он—автор «Истории одного города», где народ представлен столь же бестолково и безнадежно инертным и скудоумным, как скудоумны и бестолковы опекающие его «градоправители»; он, — с такой горечью разоблачавший все печальные свойства «пошехонского» племени и занимавшийся в своих сатирах почти исключительно «градоправителями» и «ташкентцами» да «культурными людьми» из проедающих свои «закладные» дворян,—что общего имел он с народниками? Не ссылаясь на самый факт редактирования им такого органа, как «Отечественные Записки», опуская несколько сантиментальных народолюбческих мест в его первых произведениях («Губернские очерки», «Невинные рассказы»), я замечу лишь следующее: Щедрин, конечно, принадлежал к критической струе народничества, не идеализировал безоговорочно крестьянства и его общины, не закрывал глаза на все их прорухи, как не закрывал глаза и на Колупаевых, Деруновых и Разуваевых... Не только сам не закрывал, а и другим открывал. Но если и нет в его сатирических писаниях народнических утверждений в прямой и положительной форме, как у Михайловского или Успенского, то, быть может, причиной этому отчасти был именно сатирический стиль, не вмещающий «положительного». Однако, и у него иной раз проскользнет «среди этого сатирического стиля такой образ, как «мальчик без штанов» в «За рубежом». Этот «мальчик» не только умеет сконфузить немца указанием, что тот «продал свою душу Гехту, или—что тоже—чорту»,—«да еще по контракту»: он уверен еще, что если и его собственная душа отдана

чорту же (Колупаеву), то это, тем не менее,—совсем другая статья: тут нет контракта—«задаром отдал, стало быть, и опять могу назад взять!» А Колупаев, по его показанию, уже «надоел» и—«Погоди, немчура, будет и на нашей улице праздник!»...

В чисто-художественных вещах всегда ярче проявляется интимная сторона настроения писателя. И именно из таких вещей у Щедрина мы можем усмотреть, что и ему не были чужды мечты об «особых путях», допущения «теоретической возможности». В сказке «Пропала совесть» затравленная, загаженная, превращенная в ветошку совесть, после всех своих мытарств, попадает в сердце «русского мальчика». Сказка заканчивается так: «И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть, и исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия»... Более чем позволительно сделать предположение, что этот «русский мальчик»—деревенский русский мальчик. А тогда—в сдержанном выражении—это все та же мысль Михайловского и Успенского о «благообразном типе» и т. п...

Отношение к интеллигентам-борцам, преломленное сквозь призму «сатирического стиля» (но, может быть, не уступающе в теплоте и любовности образу «девушки монашеского типа», данному Успенским), сказывается в том определении интеллигенции, которое Щедрин делает в очерках «В среде умеренности и аккуратности»: «Господам Молчалиным», под которыми разумеется все общество, и крестьянину—«человеку лебеды, которого не знает история», противопоставляются—«Галилеи, утверждающие, что земля вертится, и ломающих себе шею, проваливающиеся сквозь землю или иным образом пропадающие».

Жаление, которое у Успенского отождествляется с любовью, можно сказать, вполне налицо в таком призыве любить Россию (в «Пошехонских рассказах»): «Бедная эта страна—ее надо любить». Наконец, тот же суровый сатирик дает следующий краткий, но характерный очерк истории народничества:

«Мужик—герой современности, это верно. И не со вчерашнего дня так повелось, а давненько-таки, с самого конца сороковых годов. Ты, разумеется, не был очевидцем «начал», но я не только помню, но даже лично присутствовал при них... Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие человеческие слезы, и с легкой руки Григоровича, мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе, и в русском обществе. А с половины пятидесятых годов эта мысль сделалась уже господствующею в русской жизни. Все, что ни есть в России мыслящего и интеллигентного, отлично поняло, что, куда бы ни обратились взоры, везде они встретятся с проблемой о мужике» [1]).

---

1) „Зачинатели и продолжатели". Книгоиздательство „Коммунист", 1919. Стр. 164—167.

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ

М. Е. Салтыков

I

Русь гоголевскую, т.-е. Русь Собакевичей и Чичиковых, сменила Русь салтыковская—с Деруновым, Колупаевым и Иудушками Головлевыми. По своему идеологическому характеру и своим социальным настроениям Салтыков является духовным братом Некрасова. Как и сатирическая поэзия последнего, сатира Салтыкова неразрывно связана с ростом городской буржуазной культуры. Крымская кампания кончилась. Русский капиталистический сатана победоносно развернул свое знамя над всей «раскрепощенной Россией». Разверзлась мужицкая земля и отовсюду, как страшные князи тьмы, полезли чудовища откупа, биржи и акционерных кампаний и потянулись дельцы, рекламисты, прожекторы, шарлатаны, радикальные бюрократы, витии и печальники «интересов народных». Вся эта буржуазно-сатанинская пляска дивидентов превосходно передана в сатирической галлерее некрасовских «Современников». Но Некрасов был недостаточно сведущ в капиталистической демонологии. Вид банковских триумфаторов вызвал в нем только презрение. Близкая по мотивам Некрасову сатира Салтыкова носит более глубокий общественный характер.

«Литература,—писал Салтыков,—не только формула текущей действительности; она проводит также законы будущего, воспроизводит образ грядущего человека.

Утопизм не пугает ее, потому что он может запугать и поставить втупик только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идут далее тех, которые имеют ход на рынке»...

Мысль Салтыкова ясна: в известные эпохи литература берет на себя общественно-боевые задачи и является проповедницей идеалов. И проповедь, в которую отливается литературное творчество, т.-е. характер и фазы художественной прозы (или поэзии), всецело зависит от характера общественных настроений.

При этом нигде так типично не выступает эта зависимость между характером литературы и жизни, как в сфере художественной сатиры. Размах, высота и напряжение сатирического удара идут рядом с успехами в области социальной и политической жизни. Наличность сатирических элементов в литературе всегда указывает на то, что мир идей, усвоенный обществом, уже не соответствует его бытовому укладу; что старые бытовые формы бьют в глаза своим идейным несоответствием, и насыщенная творческой мыслью новая социальная правда, кристаллизуясь в литературе, подвергает убийственному сарказму обветшалый мир «произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия» [1]).

Говоря иначе, сатирик является партизаном общественного возрождения и идет всегда в первых рядах своей эпохи. Это—активная, глубоко воспримчивая натура, ищущая практического осуществления своих идеалов в современной ему действительности .

Таков сатирический гений Рабле, выдвинутый эпохой французского возрождения. Таково фанатическое сердце Свифта, отдавшего всю свою бурную иронию борьбе за ирландскую независимость. Таково же гневное остроумие Вольтера, в язвительной улыбке которого уже сверкало лезвие гильотины; и грозные молнии несвибаемо-праведного гнева Берне и Гейне; и революционно-насмешливые остроты Фигаро в комедии Бомарше.

Таков же страстный в своем идейном энтузиазме, беспощадно-действенный характер салтыковской сатиры.

Значение сатиры всегда—боевое, общественное. Она дает

1) Салтыков. Письма к тетеньке.

исход тому идейному пафосу, который скопился в прогрессивных отрядах рождающегося класса. И она же свидетельствует, что духовный голод не только проснулся в обществе, а ищет себе простора в жизни. Сатира—это литература, сплетенная из негодования и борьбы. В ее стегающей силе лежит не только призыв к суровому осмеянию, в ней заложена также боевая готовность и смелое стремление к делу, и она является прямою предвестницей грядущего освободительного напора.

Освободительная волна, известная под именем эпохи великих реформ, сопровождалась мощным расцветом русской сатирической литературы. Тот наплыв боевой юмористики, который произошел на наших глазах в 1905 и 1906 годах, в сущности являлся если не повторением, то возрождением уже однажды пережитого нами опьянения сатирическим хмелем. И эта полоса веселого опьянения занимала довольно долгий период—от конца 50-х годов до середины 60-х и завершилась творчеством великого обличителя М. Е. Салтыкова.

Именно в этот период зародился и выдвинулся целый ряд сатирических даровалий. В Москве процветали «Развлечение» и «Гудок», из которых последний выходил, между прочим, при участии Обличительного поэта (Минаева), Дона Алонзо (П. И. Вейнберга) и Вальки Хренова (С. Терпигорева). В Петербурге, наряду с «Занозой», «Зрителем», «Осой» и другими, выходила и пользовалась огромным влиянием «Искра». В ней начал свою литературную деятельность под именем Гейне из Тамбова и Хазера Трефного — П. И. Вейнберг, здесь же началось служение на поприще сатирической журналистики Алексея Потехина, И. А. Дмитриева-Мамонова, Н. А. Лейкина, Н. И. Наумова, Б. Н. Алмазова, а также В. Н. Буренина (под псевдонимом Владимира Монументова). Кроме того, в журнале этом участвовали Д. Григорович, М. Михайлов, Некрасов, Елисеев, Щедрин (Салтыков), Степанов и В. Курочкин.

Двое последних и явились главными вдохновителями «Искры».

Вот как характеризует всю ту эпоху наш «русский Беранже»—В. С. Курочкин.

«Когда начиналась «Искра», в русском обществе стояли светлые, прекрасные дни. То была пора самых светлых надежд и упований, пора увлечений, может быть юных, незрелых, но увлечений чистых, бескорыстных, полных самоотвержения, проникнутых одной целью—целью общего добра и счастья—и единодушных. Все лучшее общество жило одними и теми же идеалами, если и не определенными в подробностях и не всегда ясно сознаваемыми, то непременно одинаковыми в их общей основе; оно признавало и выражало их, как один человек. Литература несла общее, близкое всем знамя. Она несла его грозно и честно,—и этим создала себе высокое значение и необыкновенную силу в обществе. Мы думаем, что нисколько не преувеличим заслуг литературы того времени, если скажем, что все, что в настоящее время остается лучшего, живого, плодотворного в начинаниях и действиях общества, было насаждено ее трудом, привито ее заботами и стараниями».

Одной этой цитаты вполне достаточно для характеристики тогдашней сатирической литературы и тех серьезных общественных задач, которые она несла на себе. Если проследить содержание всей лучшей тогдашней сатирической литературы по работам Н. М. Лисовского и в особенности Мих. Лемке—«Из истории русской сатирической журналистики», то не трудно убедиться, что и в боевой своей, положительной части—и по настроению, и по темам — она являлась таким же «служением на пользу гласности и прогресса», как тогда выражались, как и все обличительное творчество Салтыкова.

II

Сатирический талант Салтыкова представляет собою такое же самобытное и значительное явление в литературе, как и дарование Свифта, Рабле или Теккеря. Если можно гово-

рить о преемственной связи между Салтыковым и Гоголем, то лишь в области формы. Ибо Гоголь рассматривал и общество и чиновников с точки зрения моралиста, тогда как сатира Щедрина вся проникнута содержанием политическим. И как активная, боевая натура, тесно связанная с задачами своего времени, Салтыков определенно и резко подчеркивал тот ближайший общественный смысл, который он вкладывал в каждую свою вещь, независимо от того, шла ли в ней речь о «Пошехонской старине», о «Господах ташкентцах» или о «Господах Головлевых».

«Знаю я и сам,—писал Н. Салтыков, объясняя появление «Пошехонской старины» слишком четверть века спустя после отмены крепостного права,—знаю, что фабула этой были действительно, поросла быльем; но почему же, однако, она и до сих пор ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и до днесь тяготеть над жизнью? Фабула исчезла, но в характерах образовалась известная складка, в жизнь проникли известные привычки»...

И если Салтыков не раз и не два возвращался к этой трагической барской старине, так это оттого, что вся его литературная деятельность была взволнованным и непрерывным протестом против феодальной складки и феодальных привычек господ Головлевых. Прислушиваясь к либеральным фиоритурам, которыми господа Головлевы, приспособляясь ко времени, стали умягчать свои вожделения, Салтыков саркастически повторял, что никак не может поверить, будто «каменоломни раскаиваются и изъявляют искреннее желание сделаться цветущими и благоухающими садами»... И, чтобы раз навсегда уяснить и себе и другим природу дворянских мечтаний и колебаний, он предложил им «участие помещиков наравне с прочими членами обществ в платеже государственных податей и земских повинностей». Но дворянство совсем по-иному понимало российские реформы и не сочло даже нужным откликнуться в какой бы то ни было форме

на эти планы, изложенные в статье: «Где истинные интересы дворянства».

С этой минуты едкое сатирическое слово Щедрина и проникалось тем злым и беспощадным презрением, которое сделало его, по выражению Чехова, самым упрямым и назойливым врагом «сволочного духа, живущего в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба», и страстным, неутомимым борцом за торжество идеалов демократии. В этой страстной и беспощадной борьбе Салтыков был первым проповедником политической религии будущего. И в то же время он сам не владел ни цельной программой, ни стройным, законченным мировоззрением. То тяготея втайне, в силу своего идеалистического энтузиазма, к доктринам французских утопистов, то проявляя симпатии к славянофильству, Щедрин, в припадках гневного критицизма, не раз обращал ядовитое жало своей сатиры против тогдашней демократии, против «шаткого и зависимого в убеждениях» глуповца-разночинца, чтобы назавтра же, впрочем, стать на защиту его прав со всей бичующей силой своей блестящей иронии.

Обличая и негодуя, он нередко пускал в ход одно из самых страшных орудий своего разрушительного смеха — карикатуру. Щедринская сатира обладает в высокой степени чувством комизма, благодаря чему его насмешки не только ранят, не только впиваются злыми когтями в пошлое сердце головлевщины, но и уродуют, уродуют живые факты действительности. Освистанные им типы нередко под пером Щедрина превращаются в какие-то омерзительные гротески. И здесь источник тех суровых оценок, которые давались литературной деятельности (и еще более нравственной личности) Щедрин не только в журналистике тогдашнего времени (Зайцев, Писарев, А. Суворин и др.), но даже и в позднейшее время (П. Кропоткин). Однако критика разночинца и недоверие к Базарову (которое также ставилось в упрек Щедрину) проистекали у него не от аристократической гордости, а от презрения к «гибкой посредственно-

сти, недерзновенно пригибающейся то в ту, то в другую сторону и беспрекословно следующей направлению ледовитых ветров, цепенящих их родную равнину из одного края в другой». Над ней, над этой трусливой, мелкой, ползком пробирающейся мещанской посредственностью, беспощадно изощрял Салтыков свое гневное остроумие, и одну из самых блестящих своих сатирических битв дал он «среднему человеку» в «Истории одного города».

— Фабула исчезла, но в характере образовалась известная складка... Вот эту старую, неистребимую головлевскую складку и родные глуповские запахи, глуповские вожделения и смирения Щедрин постоянно чувствует и с едкой, грубоватой экспрессией постоянно подчеркивает во всех своих героях.

«Я должен сказать правду,—заявляет он в «Глуповском распутстве»,—Глупов составляет для меня нетленный кошмар. Ни мысль, ни действия мои не свободны: Глупов давит их всей своей тяжестью; Глупов представляется мне везде: и в хлебе, который я сам, и в вине, которое я пью. Войду ли я в гостиную—он там, выйду ли я в сени—он там, сойду ли в погреб или в кухню—он там... В самый кабинет, как я ни проветриваю его, настойчиво врываются глуповские запахи»...

Понятно, что это вечное подтруниванье над «скверной, густой и застоявшейся глуповской кровью, над глуповскими устными преданиями и глуповской историей», т.-е. над дикой и раболепствующей психологией всякого глуповца, — не могло быть по сердцу народничеству первой формации. Да и народничество, с своей стороны, так любившее приседать и впадать в умиление по поводу всех добродетелей мужицких, совершенно чуждо было сатирической душе Щедрина. Наряду с гневным презрением и злыми щедринскими выпадами, против помещичьей благодати, смешавшей «любовь всепрощающую с телесными поучениями», Щедрин откровенно высказывает немало горьких истин и по адресу простоватых Иванушек и вообще далек от тенденции ри-

совать на розовом масле картины взаимного сближения между Иванушками и Сидорычами.

«Мне жаль Салтыкова—писал Чехов Плещееву через несколько дней после кончины Щедрина.—Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто п р е з и р а т ь умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения».

Тем не менее вера в то, что «непочатые силы» всколыхнулись и что уже недолго ждать пробуждения Иванушки от мертвой спячки, врывается довольно смелыми мажорными аккордами в сатирической тон всех салтыковских очерков. И надо было много пристрастия или большой нечуткости, чтобы превратить сатирические образы Щедрина в «цветы невинного юмора», а его самого в «покрытого барскими блестками словесного акробата» (Писарев).

Столь же мало основательны, конечно, и упреки в веселом гримасничанье и балагурстве. Лучшим ответом на все эти нападки, долго не прекращавшиеся в литературе, является письмо Салтыкова к Пыпину, написанное после резкого отзыва Суворина об «Истории одного города» и только в 1913 году впервые опубликованное полностью В. П. Кранихфельдом в «Современном Мире». Вот небольшой отрывок из этой иронической отповеди:

«Упрек в «смехе ради смеха» вышел в первый раз от Писарева и имел источником личное его враждебное ко мне чувство. С тех пор всякий, кто на меня рассердится, поднимает эту шутку, и так как эта шутка дешевая, то танцовать на ней можно сколько угодно. Если бы мне было доказано, что я предаю осмеянию явления почтенные или не стоющие внимания, я, наверное, прекратил бы деятельность столь идиотскую. Представителем смеха для смеха может быть назван рецензент, голословно обвиняющий в

смехе для смеха, да еще с чужих слов, ради того только, что тут есть смешное сочетание слов. Сей человек действительно уподобляется гоголевскому мичману, которому достаточно было показать палец, чтобы возбудить смех. Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят. Так, например, градоначальник с фаршированной головой означает не человека с фаршированной головой, но именно градоначальника, распоряжающегося судьбами многих тысяч людей. Это даже не смех, а трагическое положение. Гулящие девки, которые друг у друга отнимают бразды правления, тоже едва ли смех возбуждают, т.-е. могут возбуждать его только в гоголевском мичмане, сделавшемся критиком. Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия. Достиг ли я этого результата, вопрос иной, но утверждать, что я имел в виду одну пустую голову,—это может только критик-мичман».

III

Среди неопубликованных рукописей Салтыкова-Щедрина есть небольшой очерк, озаглавленный «В больнице для умалишенных». В этом очерке изложена «философия дозволенных бунтов».

Вкратце содержание этого очерка сводится к следующему. В доме умалишенных готовился бунт. Но среди участников бунта возник раскол. «Консерваторы» требовали, чтобы о бунте предупрежден был доктор. А «либералы» настаивали, чтобы все было выполнено без дозволения начальства. По обычаю всех политических партий,—говорит сатирик,—противники обменивались ругательствами и обвиняли друг друга в измене. Едко посмеиваясь, Щедрин на протяжении не-

скольких страничек объясняет разницу между бунтом непрошенным и грубым и бунтом дозволенным и почтительным. Механику последнего рода бунтов, возникающих под лозунгом «только беспредельное начальстволюбие вынуждает нас ввергаться в бездну оппозиции»,—Щедрин рекомендует начальству в целях воспитательных и благонамеренно-плодотворных.

Под бунтом «с позволения начальства» Салтыков разумеет тот «сволочной дух мелко измошенничавшегося русского интеллигента», про который писал Плещееву Чехов. В чем проявляется этот «дух»? В бесконечном смирении и покорности тогдашнего русского интеллигента. Член кружка петрашевцев, Щедрин с ранних лет был страстным поклонником Сен-Симона, Жорж-Занд и Фурье. Он не был последователем определенной утопической доктрины, но идеи французских утопистов внушили ему глубокую веру в творческую силу утопий, т.-е. самой наличности широких общественных идеалов Щедрин придавал огромное созидающее значение, независимо от того, осуществимы ли эти идеалы в ближайшее время. Даже больше того. Чем меньше данных представляла русская действительность для осуществления утопических идеалов, тем дороже казались ему общие, лишенные детальных очертаний, контуры утопий. Энтузиаст по природе, вечно носивший в себе неодолимую жажду к мирам далеким, Щедрин всей душой презирая тех «умеренных и аккуратных» людей, которые живут без цели, без мечты и, «как часы с ежедневным заводом, тикают и хотят, чтобы тик-так называли добродетелью».

Именно этот идеалистический энтузиазм, эта приверженность к «утопиям», окрылявшая огромный талант Щедрина и поддерживавшая в нем неугасимый пламень любви к дальнему, и дала ему бодрость и силу устоять на своем ответственном посту и в те печальные годы, когда кругом него вся русская жизнь превращалась в безмолвную пустыню. С юношеским вдохновением Щедрин до последней минуты продолжал призывать:

«Не погрязайте в подробностях настоящего, но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной мир обратился бы в камень».

Но мир Деруновых и Колупаевых становился все крепче и устойчивее. Идеалы мелкого лавочника, или царство «умеренности и аккуратности», брали верх над героическим утопизмом русского разночинца. По существу все сводилось к торжеству приходо-расходной книги. Ибо, что такое все эти мещанские добродетели, о которых с таким презрением пишет Щедрин, вся эта «философия дозволенных бунтов», как не проблема рационального ведения мещанского хозяйства, как не принципиальный отказ от всех правил и догматов дворянина? Дворянин—кутила, бесхозяйственник, мот. Он—лентяй, расточитель и растратчик. Девиз каждого доброго мещанина: копите и сберегайте. Дворянская «честь» уступает место купеческому алтыну:

Копейка рубль бережет.

Лишняя копейка никому не вредит.

Береги копейку про черный день.

Это все—правила, бьющие по лицу расточительного дворянина и равняющиеся по плану «святой хозяйственности» буржуазного собственника: никогда не давай расходам превысить доход. Эта хозяйственная мудрость у всех народов выражается одинаково.

— Грош, сбереженный человеком, приносит ему больше чести, чем сто израсходованных,—говорит итальянец.

— Как от смертельной опасности, беги от лишних расходов,—внушает рассчетливый англичанин.

— Бери пример с муравья,—гласит французская басня,—который не забывает сегодня о нуждах завтрашнего дня.

— О, святая бережливость!—вздыхает почтительно немец.

На всех языках и у всех народов мещанин взывает к «умеренности и аккуратности» и сводит все гражданские добродетели к купеческой ловкости, т.-е. к порядку, деловитости, бережливости и солидному поведению. Конечно, на первых

порах можно ограничиться правилом: копи и не вдавайся в расходы. Против этого духа «умеренности и аккуратности» во всех областях духовной жизни русского интеллигента и ополчается Салтыков. Интеллигент, по его мнению, постепенно отрекается от самого себя—от своей жертвенности—и пропитывается «сволочным духом» наживы и мещанственной осторожности. И вот мало-по-малу вся деятельность сатирика направляется на борьбу со «сволочным духом мелко измошенничавшегося русского интеллигента». Но из гневного и безжалостного обличителя сам Щедрин успел превратиться к этому времени в скорбного нытика. Яростно-насмешливый тон сменяется в его очерках элегическим. Это новое настроение сатириков с особой силой выражает в известной сказке «Игрушечного дела людишки». В мастерской Изуверова пляшут, сражаются, дерутся живые, но совершенно равнодушные куклы. Кукольный мастер Изуверов приложил все усилия, чтобы сработанные им куклы напоминали живых людей. И ему удалось добиться от них всего—уменья смеяться, двигаться, шевелиться, даже краснеть. Только одного не смог он добиться от своих кукол—ж е л а н и й. «И живет кукла, как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живет да душу изнимает—и шабаш!».

Сказать точнее, все желания у «игрушечных дел людишек» свелись к желанию Деруновых и Колупаевых: норови в карман.

Твердо укрепившись на высотах своего «утопического» идеала, Щедрин «сверху вниз» смотрел на торжество обыденщины. Он признал ее победы, поневоле смирился перед нею и умерил свой бичующий смех. Но все же до конца дней своих он продолжал смотреть на литературу, как на «учительство». В интересах широкой пропаганды своих теоретических взглядов Щедрин пользовался всеми средствами печатного слова. И даже в чисто художественных произведениях своих он неустанно комментировал свои образы, стараясь пером публициста доказать то, о чем недостаточно ясно упомянул, быть может, художник.

IV

Резкий боевой характер, который несло творчество Салтыкова, не позволял ему достигнуть ясного художнического спокойствия. Но обладал он тонким художественным даром, и, как никто в русской литературе, сумел заглянуть в душу порабощенного народа, создав целую бессмертную галлерею героических протестантов, ополчившихся против «рабского образа», как, напр., Мавруша-Новаторка, Сатир-Скиталец, Ванька-Каин и многие другие. Его Деруновы и Колупаевы остались незабвенным наследием незабвенного Чичикова, а Иудушка Головлев может по справедливости считаться российским Тартюфом.

Все многочисленные гротески и шаржи Щедрина — не только карикатуры. Они поражают также своей бытовой законченностью и глубокою жизненностью, или, как писал Михайловский, зловещею правдой художественного воспроизведения. Сквозь их карикатурный наряд ясно обозначаются «основы глуповской жизни» и их утрированные лица только заметнее выделяют те особенности, которые приковывают к себе проницательное око художника. Под действием резкой карикатуры эти бьющие в глаза уродства начинают казаться зловещей, но совершенно правдивой гримасой жизни и приобретают характер глубоко символической сатиры,—характер поистине трагической маски. Таковы все эти Финогей Родивонычи, Зубатовы, Перехват-Залихватские, Угрюм-Бурчеевы и проч.

Язык щедринской сатиры—это типичнейший русский говор. Салтыков не пишет поэму или роман, а рассказывает. И этот говор,—сочный и бойкий, где в каждом слове во всей глубине трепещет русская жизнь,—тревожит, будит и бьет своим метким остроумием. Оттого сочинения его служат щедрой сокровищницей, откуда русская литература заимствует десятки оборотов, приемов и убийственных щедринских словечек.

Конечно, острота щедринской сатиры умерла. Многое из

того, что написано было Щедриным, давно покрылось плесенью исторической могилы и читается со скукой. Тем более, что общественные идеалы Салтыкова были в достаточной мере сбивчивы и неясны. И если нет у Салтыкова таких откровенных акафистов в честь святой мужицкой хозяйственности и «здоровенных псов», как у Некрасова, то все же смычка города и деревни, в каком бы то ни было виде, ему казалась немыслимым кощунством. В его глазах горожанин—великий плут и бездельник, заедаемый «сволочным духом» мещанства; тогда как единственным поильцем и кормильцем земли русской был и во веки пребудет—мужик («Коняга»). Однако, поскольку мы и сегодня встречаем на всех перекрестках русской действительности Деруновых и Колупаевых (хотя и в новой коже), поскольку жив еще «сволочной дух» мещанства, многое из того, что ядовито осмеяно Щедриным, небесполезно перечитать и вспомнить и в наше время.

Конечно, фабула щедринской сатиры исчерпана до конца; но в характере образовалась известная складка. И доколе жива старая мещанская сволочная складка, доколе не выветрились без остатка глуповские запахи, жива будет также и крылатая фраза Герцена:

— «Вы воображаете, что все рассказы Щедрина так и можно теперь огулом бросить с Обломовым на шее в воду? Слишком раскошничаете граждане!» [1].

---

[1]) Новый мир. 1926 г., № 2. Стр. 130—138.

ВЛ. П. КРАНИХФЕЛЬД

М. Е. Салтыков (Н. Щедрин)

Сатирик по призванию, Салтыков с первых же еще неуверенных шагов литературой карьеры, осуществляет это свое, можно сказать, провиденциальное назначение в такой степени последовательно и стойко, что, кажется, он нигде не изменяет себе. Даже в частной беседе или переписке, даже в вице-губернаторском кресле он остается сатириком, острое зрение которого не может мириться с противоречиями между тем, что есть и что должно быть. «Противоречиями» названа его первая юношеская повесть, противоречия он отмечает затем в течение всей своей последующей жизни, не разбрасываясь в стороны и не насилуя своего таланта какими-нибудь иными, несродными ему задачами. Быть может, этой последовательной и огромной работой в одном неизменном направлении возможно объяснить то удивительное явление, что талант писателя заметно и непрерывно растет даже тогда, когда физические силы окончательно изменяют писателю и когда, в течение нескольких последних лет, само существование его является одним сплошным мучительным страданием.

Рано начавшаяся литературная карьера Салтыкова рано же познакомила его и с терниями, которыми щедро усыпан путь русского писателя. Едва успела появиться в свет вторая его повесть — «Запутанное дело», как он должен был провести почти восемь лет в Вятке, вдали от жизни и интересов, с которыми он по выходе из лицея успел сродниться. Другая сторона литературной карьеры — так называемая «слава» писательская — открылась для него, когда он начал в 1856—57 годах печатать на страницах «Русского Вестника» «Губернские очерки». Новые и силь-

ные слова, которыми заговорил «надворный советник Щедрин»— этим псевдонимом подписывал Салтыков «Губернские очерки»— произвели сильное впечатление на широкие круги читателей. Обратила внимание на писателя и критика, при чем последняя, в лице наиболее влиятельных в то время своих представителей — Добролюбова и Чернышевского,— дала Щедрину в высокой степени сочувственную оценку. Однако положение его в литературных кружках было в это время далеко неустойчивым. Час для полной и правильной оценки нового таланта еще не наступил, и сочувственные для Салтыкова отзывы нимало не мешали совершенно отрицательному к нему отношению даже со стороны людей одинакового приблизительно с ним настроения и тонкого художественного вкуса.

Тургенев в одном из своих писем в 1857 г. категорически и резко заявляет, что «если г. Щедрин имеет успех, то, говоря его словами, писать уже «не для-чего». Пусть публика набивает себе брюхо этими пряностями.— На здоровье!».

Не менее ядовитый отзыв о Салтыкове дал в этом же году в частном письме к Тургеневу и Некрасов.

Однако эти, быть может, самые злые и уж конечно самые талантливые критики Салтыкова должны были капитулировать перед силою его выраставшего дарования.

Всегда чуткий к «новооткрытым» и даже к неоткрытым талантам, Некрасов капитулировал первым. Он очень скоро понял и постарался исправить свою ошибку: так неудачно оцененный им в 1857 г. сатирик с 1859 г. делается постоянным сотрудником его журнала, а в начале 1863 г. мы видим Салтыкова уже рядом с Некрасовым во главе «Современника», а затем с 1868 г. во главе «Отечественных Записок». Что касается Тургенева, то об его абсолютной капитуляции перед огромным дарованием сатирика говорят нам его собственные признания, сделанные им как в частной переписке, так и в печати. Он понял, что область, отмежеванная сатириком в русской словесности, имеет все права на самостоятельное, независимое существование, и что

в этой области Салтыков «неоспоримый мастер и первый человек». «Невольно» задаваясь вопросом, «отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением», Тургенев здесь же и отвечает себе: оттого, «что романы и повести — до некоторой степени пишут другие, а то, что делает Салтыков, — кроме него делать некому».

Одержав блестящую победу над такими мощными сановниками, какими являлись названные нами писатели, Салтыков быстрыми и уверенными шагами подвигался вперед, поднимаясь все выше и выше к тем высотам литературы, с которых огромное значение писателя становится уже бесспорным, даже для несогласно с ним мыслящих жителей долин.

I

Салтыков родился 15 января 1826 г. в старом дворянском гнезде, в селе Спас-Угол, Калязинского уезда, Тверской губернии. О первых и самых, конечно, решающих годах жизни писателя, проведенных им в тиши деревенского захолустья, нет почти никаких извне сообщенных биографических сведений. Но скудность их в огромной степени искупается той удивительной по яркости воспроизведения картиной вскормившей его семейной обстановки, которая дана самим сатириком в «Пошехонской Старине» и частью в «Господах Головлевых». Правда, во введении к «Пошехонской Старине» Салтыков на первой же странице просит читателя не смешивать личности автора с личностью Никанора Затрапезного, от имени которого ведется рассказ, но тем не менее многое в этой поистине художественной сатире до такой степени мало отклоняется от действительности, что смело, без риска сколько-нибудь серьезных погрешностей, может быть принято за правдивый автобиографический рассказ.

Как младший из детей, Михаил Евграфович пользовался в доме значительными привилегиями. В то время, когда его

старшие братья и сестры учились и когда из классной комнаты, вслед за щедро раздававшимися колотушками, слышался неумолкаемый плач, маленький Михаил ни к какому делу не был приставлен и только прислушивался и приглядывался, почему память его и сохранила достаточно яркие впечатления. Не менее серьезной привилегией его возраста было и то, что он находился вне воюющих лагерей постылых и любимчиков, так как не состоял «ни в тех, ни в сех». Он жил как-то незаметно, не любил попадаться на глаза и был в доме не столько действующим лицом, сколько внимательным наблюдателем.

Одинокий и беспризорный, он еще больше почувствовал свое тоскливое одиночество, когда весь выводок старших детей отправлен был учиться в Москву, и безмолвие детских комнат как-то сразу распространилось во всем доме жуткой тишиною могилы. Правда, одиночество и отсутствие надзора предоставляли мальчику большую сумму свободы, нежели старшим детям, но эта свобода, как утверждает писатель, не привела за собой ничего, похожего на самостоятельность, или, по крайней мере, самостоятельность приобреталась только внешняя, кажущаяся. «Надо мной,— пишет Салтыков,— тяготела та же невидимая сила, которая тяготела над всеми домочадцами и которой я, в свою очередь, подчинился безусловно. Этой силой была не чья-нибудь рука, непосредственно придавливающая человека, но вообще весь домашний уклад. Предстояло жить, как живут все, дышать, как все дышат, итти по той же стезе, по какой все идут». Только внезапное появление сильного и горячего луча может, при подобных условиях, разбудить человеческую совесть и разорвать цепи ее вековечной неволи. Таким горячим лучом, осиявшим детскую совесть Салтыкова, оказалось Евангелие. Книга эта заинтересовала и встревожила мальчика. Конечно, сердце его не сделалось «очагом любви к человечеству», но писатель с полным правом мог утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад его миросозерцания.

Что же касается непосредственных результатов этой огромной для ребенка работы пробужденного сознания, то они сказались в том, что с этих пор его «сбращение с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла его язык, исчезла навсегда». То с в о е, которое с такой силой внезапно заговорило в нем, пробудило в нем ясное сознание, что и другие обладают таким же равносильным «своим». Здесь именно лежит источник той удивительно проникновенной психологии подневольного человека, которой ни до, ни после Салтыкова не имела наша литература. В «Пошехонской старине» поражает читателя тонкое умение автора подслушать и уловить в душе крепостного раба те часто смутные для него формулы, в которых он, этот бесправный объект помещичьей власти, пытался определить себя, как самоценную индивидуальность, имеющую все права на образ и подобие божества.

Как ни безалаберно складывались подготовительные к школе занятия, но, благодаря способностям мальчика и его огромному прилежанию, оказалось, что к десяти годам он был вполне подготовлен в 3-й класс московского дворянского института. Отсюда, в числе лучших воспитанников, он был переведен в Царскосельский (с 1844 г. Александровский) лицей. В лицее продолжали жить «пушкинские традиции», настойчиво поддерживаемые и защищаемые старшим курсом. Так, каждый выпуск лицеистов, считал необходимым иметь непременно своего собственного Пушкина, и хотя это почетное имя или звание присваивалось по нужде не всегда с одинаковым тактом, не всегда по заслугам и талантам местных лауреатов, но уже само по себе взятое это стремление — выдвинуть из своей среды и вознести на известную высоту литературный талант — предполагало в лицеистах значительную степень уважения к интеллектуальной, кристаллизующейся в литературе, работе. И действительно, влияние литературы было тогда, повидимому, очень сильно в лицее.

Здесь Салтыков, пристрастившийся к чтению, начал свою литературную карьеру. Он писал стихи, и товарищи провозгласили его Пушкиным своего 13-го выпуска. Сам Салтыков впоследствии вспоминал о своих лицейских поэтических опытах с большим сарказмом. Тем не менее, его стихотворения печатались и даже имели некоторый успех.

При всех технических недостатках, которыми страдают мрачные стихотворения Салтыкова, они подкупают своей безыскусственной простотою. В них нет рисовки, нет подчеркиваний. Юноша искренно, не гоняясь за эффектами, отмечал то, что переживал и чувствовал.

Годы, в которые Салтыков заканчивал последние счеты с лицеем и вступал на путь самостоятельной жизни, совпали со временем наиболее страстного увлечения передовой русской интеллигенции идеями французских утопистов. Основную ее духовную пищу составляли сочинения Сен-Симона, Фурье, Консидерана, Кабэ, Прудона, Луи Блана и других в подлинниках или в передаче трактующих эти темы писателей.

Есть основания думать, что Салтыков попал в сферу этого господствующего среди передовой молодежи настроения еще в бытность свою в лицее. Веским аргументом в пользу такого предположения служит тот факт, что наиболее энергические представители этого настроения, каковы Петрашевский, Спешнев, Кашкин, Европеус, вышли из того же Царскосельского лицея, при чем некоторые из них поддерживали с лицеем и по выходе из него живые связи. Петрашевскому поставлено было даже в вину, что он приглашает к себе по праздничным дням воспитанников лицея, «прельщая,— как сказано в докладе следственной комиссии,— их умы объяснением новых идей».

Как бы там ни было, но до или после окончания лицея Салтыков, по собственному его признанию, познакомился лично с Петрашевским и бывал у него. Когда «заговор идей» был раскрыт, то с арестом Петрашевского и других участников этого знаменитого дела был пристегнут к нему

и Салтыков. Хотя, по свидетельству официального документа, ни одно из показаний обвиняемых не давало повода предполагать, чтобы Салтыков «принимал какое-либо участие в злоумышлении по настоящему делу», однако, его не привлекли к допросам в комиссии единственно потому лишь что он был в то время уже сослан в Вятку.

Идейный энтузиазм, который характеризует настроение молодого Салтыкова в этот период его жизни, не только не получал каких-нибудь импульсов в русской действительности, но даже, напротив, систематически обеспложивался ею. Отсутствие реальных оснований в родной среде заставляло восторженных идеалистов искать опоры в чужой жизни, в чужих интересах далекой Франции, тогда как русская жизнь того времени, по характеристике Салтыкова, представляла «запертую храмину, ключ от которой был отдан в бесконтрольное заведывание табели о рангах. И последняя настолько ревниво оберегала ее от сторонних вторжений, что самое понятие о «реальном» как бы исчезало из общественного сознания».

Теоретические построения, совершенно оторванные от жизни, не могли, разумеется, не терять вследствие этого в ясности и определенности, и этот недостаток их подчеркивает сам Салтыков в тех замечательных по искренности тона автобиографических страницах, где от его имени излагает свою исповедь «Имярек».

Действительно, во всех его многочисленных сочинениях едва ли можно было бы отыскать следы детального изучения систем, которыми он горячо увлекался. Ни одна из них не встретила в нем преданного и беззаветного адепта. Всем им он отдал дань и прежде всего, как он и сам признается, блестящему Сен-Симону и особенно его талантливой ученице Жорж-Занд. Влияние последней весьма недвусмысленно сказывается в первых повестях Салтыкова: в «Противоречиях», где молодой автор выступает с горячей защитой в пользу признания прав жизни и страстей, и в «Запутанном деле», которое своей социалистической тенденцией

прямо напрашивается на сравнение с общественными романами французской писательницы. В последующих фазах литературного развития Салтыкова заметно вступают его симпатии к Фурье, имя которого очень часто выводит перо писателя en toutes lettres, а еще чаще чувствуется, что дух этого французского утописта незримо руководит его пером.

Словом, пользуясь всей той же биографией «Имярека», можно сказать, что Салтыков, «по самой природе своей, по всему складу своей жизненной деятельности, не мог не остаться верным той музе, которая, однажды озарив его существование, уже не оставляла его». Но это была именно м у з а, озарившая его существование и определившая его настроение, а не богиня мудрости, не Минерва, которая заставила бы его последовательно размотать весь клубок логической нити воспринятых им теоретических построений. Придавая огромное значение утопиям, он не хотел и не мог итти до конца ни с одним из известных ему утопистов.

Воспитавшись под непосредственным их влиянием, он высказывает в «Дневнике провинциала» убеждение, что если кто в двадцать лет «не стремился к общему возрождению, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать». Отсутствие утопий для него равноценно ограниченности кругозора. Напротив, все, что есть в мире доброго, светлого и прочного, весь прогресс человеческого общежития, все готов Салтыков приписать творческой роли утопий, «расплывающейся, но верной себе мысли».

Однако, при всех своих симпатиях к утопиям, огромное значение которых в прогрессивном движении человечества Салтыков подчеркивает при каждом удобном случае, сам он,— повторяем,— не примкнул вплотную ни к одной из систем, «озаривших» его молодые годы. Его смущала и, если хотите, отталкивала одна общая всем этим построениям черта, которая, по его мнению, была гибельной для них ошибкой. Утописты слишком спешили «усчитывать будущее, уснащая его мельчайшими подробностями», тогда как жизнь

не может и не должна оставаться неподвижною, как бы ни совершенны казались в данную минуту придуманные для нее формулы.

Отвергая «подробности», как ненужные и часто даже смешные, Салтыков тем более дорожил теми общими всем утопиям положениями, в основе которых, как он утверждал, лежит один принцип — человечества. «Подробностями и даже некоторыми существенными чертами,— убеждал он свою постоянную собеседницу —«тетеньку»,— можно даже и поступиться, но если даже только одно общее представление о человечности найдет себе достаточно прозелитов, то и это, уже значительный шаг вперед».

В частности, отвергая детали учения Фурье, Салтыков утверждал в то же время, что идея новых оснований для новой жизни, идея освобождения жизни — исключительно при помощи этих новых оснований — от мелочей, делающих ее постылою, остается пока во всей силе.

Таким образом, из юношеского общения своего с идеями французских утопистов Салтыков вынес и усвоил себе раз и навсегда глубокую веру в творческую силу утопий. Утопизм Салтыкова не имел ничего общего с фантазерством, он не суживал кругозора неподвижной стеною той или иной практической программы, а напротив, как бы окрылял критическую работу сознания, намечая для нее отдаленные вехи в виде самых широких обобщений общественной мысли. Независимо от того, может ли быть доказана осуществимость идеала из элементов действительности, или он построен даже вопреки ей, Салтыков придавал огромное значение самому факту наличности общественного идеала в человеческом сознании. И чем меньше данных представляла ему русская действительность для того, чтоб разобраться в ней и определить направление пути ее исторического развития, тем дороже казались ему общие, не теряющиеся в подробностях контуры утопий.

Как ни характерно для Салтыкова постоянное подчеркивание того факта, что он выше всего ценит эти общие

положения «расплывающейся мысли», что с чистых снеговых вершин ее он и рассматривает русскую действительность, но все же и в его произведениях можно отыскать некоторые «подробности», которые еще ярче освещают его духовное родство через петрашевцев с французскими утопистами.

В «Мелочах жизни», останавливаясь на сравнительной оценке социальных и политических «новшеств», он вполне определенно высказывает свое отношение и к тем и к другим. Он утверждает здесь, что политические новшества, не затрагивая коренных основ, на которых зиждутся общество и государство, «только скользят по поверхности, перемещая центр власти из одних рук в другие (от Баттенберга к Меренбергу и т. д.)» и лишь отчасти, «очень умеренно», расширяя кадры правящих классов. Сравнительно бедные результатами, они почти всегда застигают общество внезапно и, возбуждая страсти уязвлением личных самолюбий и интересов, в массы народные они проникают в форме отдаленного гула, не изменяя ни одной черты ни в их быте, ни в их благосостоянии. Поэтому, утверждает сатирик, «массы относятся к подобным новшествам не только с равнодушием, но и с удивлением, не понимая, почему у кормила правления понадобился в данную минуту Гизо, а Тьер оказался ненужным». Совсем иное отношение проявляет Салтыков к «новшествам» социальным. Он подходит к ним с разных сторон и горячо защищает положение, что социальные новшества представляют подготовку к полному освобождению человечества от ига мелочей.

Таким образом, мы видим, что Салтыков, как это он и сам признает в «Мелочах жизни», имел «слегка социалистическую окраску». С л е г к а, — потому что социализм Салтыкова, весьма неопределенный в подробностях, не идет дальше признания основных общих положений своего первоисточника — французского утопического социализма. Подробности сливались в его сознании с регламентацией, а регламентация вызывала в нем двойственное представление, в ко-

тором и социализм и «аракчеевщина» как-то перепутывались и даже сливались друг с другом. Но, придавая огромное значение «новшествам социальным», выдвигая их на первый план не только в форме путеводной звезды идеала, но и в виде очередных практических задач, Салтыков тем не менее очень резко расходился со своим первоучителем и даже осуждал его за то, что тот допускал существование комбинированных им форм общежитий во всякой политической среде, тогда как на самом деле, по убеждению сатирика, характер этой среды, та или иная ее подготовка играет здесь решающую роль. С этой именно точки зрения, сравнивая Вержболово с Эйдткуненом, где, казалось бы, многие общественные явления почти или вполне равноценны («в Эйдткунене—кнехты и в Вержболове—кнехты; в Эйдткунене — господин Гехт, в Вержболове — господин Колупаев: в Эйдткунене нет распределения, но есть накопление: в Вержболове тоже нет распределения, но нет и накопления»), Салтыков не может, однако, не признать за Эйдткуненом одного важного преимущества. Там именно, на стороне Эйдткунена, есть «общее признание, что человеку свойственно человеческое». Правда, замечает сатирик, признание это еще робкое и неполное, и, конечно, господин Гехт употребит все от него зависящее, чтобы не допустить его чрезмерного распространения, но — сознается он — «несомненно, что просвет уже существует и что кнехтам от этого хоть капельку да веселее».

Признание соответствующей политической среды, как необходимого условия для осуществления мыслимых социальных идеалов, составляет в высшей степени важный момент для Салтыкова, как сатирика, потому что именно эта среда — во всех ее существенных проявлениях,— в значительной мере и определяла содержание его сатиры. Далеко впереди, как огни маяка, сияли для него те идеалы общечеловеческого счастья, которые властно завладели им в дни молодого энтузиазма, и, расчищая дорогу к этим огням, он неутомимо боролся, по собственной его формулировке, «про-

тив произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия». Сатира его, «в провидении законов будущего», зорко следит за настоящим, проникает в прошедшее, чтобы и оттуда извлечь нужные для ее высокой цели элементы, которые надлежит подчеркнуть и заклеймить. Она захватывает в свой обширный круг не только нравы, но и учреждения,— становится сатирой политической. И — что в высшей степени характерно для Салтыкова — даже в этой политической своей роли его сатира прежде всего берет под свою защиту... «утопии».

II

Много работая над собственным развитием, Салтыков, по выходе из лицея, не переставал тяготеть к литературе в которой он, теперь двадцатилетний юноша, принимает постоянное участие,— пока небольшими рецензиями в библиографической хронике, главным образом, «Отечественных Записок».

Имея дело преимущественно с учебниками и с книгами для детского чтения, Салтыков широко пользовался обычаем говорить не столько о книгах, сколько по поводу них, то и дело предпринимая более или менее серьезные вылазки в область широких вопросов общественной жизни. Не менее резко и зло касается юный рецензент и вопросов воспитания и образования. Эти вопросы, которыми он только-что переболел, испытав на самом себе все приятности лицейского воспитания, особенно волнуют Салтыкова, и он возвращается к ним не раз в своих рецензиях, анализируя все слабые стороны современной ему педагогической теории и практики. В них он видит не что иное, как «систему постепенного ошеломления». В сфере этих же вопросов вращается главным образом основная тема его первой и, надобно сказать, мало значительной повести «Противоречия», в которой Салтыков проводил все ту же мысль о необходимости сближения школы с жизнью, а жизни с природою.

Гораздо значительнее захват и ярче выполнение второй его повести «Запутанное дело», впервые появившейся в «Отечественных Записках» за 1848 г. Здесь, как и в первой повести, в роли центральной фигуры выступает «лишний человек», но на этот раз автор заинтересован не столько им самим, не столько его индивидуальной психологией, в область которой он делал не совсем удачные экскурсии в первой повести, сколько той социальной средой, в которой возможно или даже необходимо существование победителей и побежденных. Нимало не стараясь даже заинтересовать читателя своим героем, слишком для этого ординарным и ничтожным, автор во имя его призывает к ответу весь установившийся строй социальных отношений. Привлечены им к ответу и утопии, в лице двух, не без живого юмора, зарисованных фигур, олицетворяющих систему в двух ее крайних и односторонних проявлениях.

Салтыков предназначал «Запутанное дело» для «Современника», но Панаев возвратил рукопись, опасаясь, что цензура его журнала не только запретит такую повесть, «но еще гвалт подымет». Цензура «Отечественных Записок» оказалась снисходительнее; здесь повесть была пропущена и напечатана, но опасения Панаева все-таки оправдались: повесть вызвала «гвалт», окончившийся для молодого автора очень печально.

28-го апреля 1848 г. Салтыков был выслан в Вятку на службу, под непосредственное наблюдение губернатора.

Салтыков и в Вятке продолжает начатую им в столице серьезную работу над собой. Вместе с тем, со свойственною ему во всех делах добросовестностью, отдается Салтыков и новым своим служебным обязанностям. Хотя в частных разговорах он отзывался впоследствии о своей службе в Вятке с иронией, подчеркивая свою будто бы полную бездеятельность по службе,, но в действительности это было далеко не так. Он назначается делопроизводителем трех комитетов. На него, как лет за пятнадцать перед этим на А. И. Герцена, возлагается распоряжение вятской выставкой

сельских произведений. Он получает поручения и командировки по разным следственным и судебным делам и для ревизии подведомственных губернскому правлению учреждений и т. д. И уже тот факт, что он, в своем исключительном положении опального чиновника, не застрял на отведенной ему по приезде в Вятку ступени иерархической лестницы, в достаточной мере свидетельствует о его служебной энергии. Убедительным доказательством незаурядной энергии и добросовестности Салтыкова в служебной деятельности служит, между прочим, сохранившаяся в его бумагах копия с донесения его губернатору по делу о прекращении в 1852 г. крестьянских беспорядков в Трушниковской волости.

Беспорядки были вызваны недоразумениями крестьян на почве их запутанных отношений с арендатором казенной земли. Салтыков был командирован разобрать и уладить дело. Поручение было весьма щекотливое. Никакие доводы не могли склонить крестьян исполнить предъявляемые к ним требования. И только после того, как были арестованы и отправлены в уездный город трое «зачинщиков», и как арендатор, с своей стороны, согласился рассрочить взыскания, беспорядки затихли, и дело было улажено до прибытия военной команды. Этим внешним эффектом достигнутого «замирения» Салтыков не удовлетворился. Он произвел внимательное расследование причин крестьянских волнений, выяснил всю безвыходность экономического положения крестьян данной местности, запутанность их юридических прав на спорную землю, запутанность, вытекающую из чисто чиновничьего, бумажного отношения к делу со стороны палаты государственных имуществ, и настаивал на необходимости отдать крестьянам злополучную камскую статью, из-за которой именно и произошли беспорядки.

Этот интересный документ чиновничьей деятельности Салтыкова, при всей его несомненной благожелательности, оставляет, однако, неприятное впечатление какой-то насквозь пропитывающей его двойственности. Тут и «бунтовщики»,

закоснность притязаний которых, в полном их объеме, признается самим же докладчиком, тут и арестуемые «зачинщики», т.-е. люди, наиболее горячо отстаивавшие те попранные мирские интересы, энергической и убедительной защите которых собственно и посвящен весь доклад... И чувствуется, как здесь человек, искренно болеющий невзгодами обездоленной массы, робко прячется в вицмундир усмиряющего бунтовщиков чиновника. Это был маскарад,—маскарад вынужденный и неприятный для самого Салтыкова, но в то время оправдывавшийся и даже идеализировавшийся им, потому что он, этот последовательный реалист в своей деятельности, был и остался до конца дней неисправимым идеалистом, желавшим каждый свой шаг в области практической работы осмыслить и осветить лучами озарившего его идеала.

Так было и в данном случае, о чем нам свидетельствует биография «Имярека», полностью, как мы знаем, сливающаяся с биографией сатирика.

Когда «Имярек» «по обстоятельствам должен был оставить среду, которая воспитала его радужные сновидения», и поселиться «вглубь провинции», то, чтобы облегчить обязательную для него бюрократическую деятельность, он создал для себя своеобразную теорию. «Сущность этой теории заключалась в том, чтобы практиковать либерализм в самом капище антилиберализма». С этой целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и, сообщив последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства, взять затем «облюбованный предмет за нос и водить его за оный». В оправдание этой теории приводилось то соображение, что вся история русского прогресса шла именно таким путем.

«Имярек» соблазнился этой теорией тем более, что она была как-раз по плечу провинции. И только мало-по-малу для него выяснилось все дефекты ее. Он понял, что путь, на который толкает эта теория, есть путь уступок, улажи-

ваний и урезываний. Но тяжелее всего было то, что как ни своди дело к личностям, из-за последних все-таки выскакивал «порядок вещей», а тут уж прямо выказывалась несостоятельность усвоенной системы.

Эти строки, в которых дана полная критическая оценка «теории вождения влиятельного человека за нос», написаны сатириком во второй половине 80-х годов. Но в вятский период его жизни теория еще прочно держалась, хотя, быть может, в ней уже и были пробиты более или менее значительные бреши.

Во всяком случае, о перемене карьеры Салтыков в это время и не мечтал, а просто всеми силами своей души рвался из опостылевшей ему Вятки. Он охотно променял бы Вятку на какой-нибудь другой губернский город; в этом смысле не раз за него хлопотали, но безуспешно. И только в новое царствование, после того, как Севастополь был взят союзными войсками и в реакционной атмосфере почувствовалось веяние иных настроений, Салтыкову удалось, наконец, расстаться с Вяткой и возвратиться в Петербург.

Под неостывшим еще впечатлением картин вятской жизни, послуживших ему прототипом для художественного воспроизведения крутогорских нравов, он пишет «Губернские очерки», которые встречают в публике почти восторженный прием. Чернышевский не только считает «эту благородную и превосходную книгу» прекрасным литературным явлением, но относит ее к числу «исторических фактов русской жизни».

Прежде чем прийти к таким лестным для писателя заключениям, Чернышевский подверг «Губернские очерки» очень серьезному испытанию, которое они выдержали блистательно. «Никто,—пишет Чернышевский,—не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностью. И при этом,—замечает критик,—«Губернские очерки», вовсе не задаются целью обличать дурных чиновников,

а являются правдивой художественной картиной среды, в которой заклейменные сатирическим отношения не только возможны, но даже необходимы».

Критик, действительно, отметил самую существенную сторону «Очерков», и мне остается разве подчеркнуть замечание Чернышевского и лишь несколько видоизменить его. Я сказал бы именно, что в «Очерках», под прозрачным псевдонимом «надворного советника Щедрина», ясно виден сам автор, надворный советник Салтыков (таков именно и был чин автора в это время), который клеймил своей сатирой не столько знакомый ему близко мир чиновников, сколько ту загадочную среду—русское общество,—которая отдала чиновничеству в бесконтрольное распоряжение всю полноту власти, вплоть до самовластия. Служба в Вятке раскрыла Салтыкову психологию чиновничьего мирка, ничем, кроме избытка власти, не отличающегося от всего прочего обывательского мира, но психология обывателя осталась для него непонятной, загадочной. И с этой точки зрения содержание «Очерков» вполне точно определяется устами одного из многих «деятелей» Крутогорска, полицейского чиновника Михаила Трофимовича, который считал себя вправе поучать обывателей такими, преисполненными уничтожающего высокомерия словами: «А оттого все эти мерзости, что вы сами, скоты, все это терпите; кабы вы разумели, что подлец—подлец и есть, что его подлецом называть надо, так не смел бы он рожу-то свою мерзкую на свет божий казать». Салтыков убедительно, с тонким, должно даже сказать, с совершенным знанием изображенной среды, доказал читателю, что «подлец—подлец и есть». Но он очень хорошо постиг всю психологию этого «подлеца» (в этом достоинство и сила «Очерков»),а понять—значит, если не простить, то во всяком случае об'яснить законность, необходимость явления. Так вот,законность Фейеров и им подобных Салтыков выяснил в своих «Очерках», но в оценке создавшей их обстановки не только сравнялся с высокомерным Михаилом Трофимовичем, но даже обогнал его. Я имею в виду известную

экскурсию сатирика в область истории Глупова, которую он предпринял несколько позже, а именно в 1861 г. «У Глупова,— начинает сатирик эту экскурсию,—нет истории. Всякая вещь имеет свою историю; даже старый губернаторский вицмундир имеет свою историю, а у Глупова нет истории». Дальше оказывается, что у Глупова все таки есть история и даже очень странная история. Оказывается именно, что наезжала как-то в Глупов Минерва и спрашивала глуповцев об их желаниях. «Но глуповцы кланялись и потели». «Скажите же, что ж вы хотели бы» настаивала Минерва и топнула даже ножкой от нетерпения. Но глуповцы продолжали кланяться и потеть. Тогда, бог весть откуда, раздался голос, который во всеуслышание произнес: «лихо бы теперь соснуть было!». Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмеялись.

Глуповец, стало быть, не только «терпит», как думает Михаил Трофимович, но даже, как думает Салтыков, не желает изменить свою обстановку, несмотря на любезную настойчивость Минервы, располагающей сделать все по его глуповскому желанию. И лишь значительно позже сатирик придет к сознанию, что сообщаемый им «исторический» эпизод никогда не мог иметь места в истории Глупова, что Минерва не только не справлялась у глуповцев о их желаниях, но напротив всю свою мудрость, все искусство, все свои огромные, начиная с прекрасной организации, средства направляла к тому, чтобы глуповец только потел, но не высказывался.

III

В широкой картине «Очерков» Щедрин не только зарисовал типические для того времени фигуры старых отживающих свой срок приказных, но наметил определенные контуры только-что выдвинутых жизнью новых администраторов («озорников») и новых же, на все готовых исполнителей их предначертаний («надорванных»). В будущем ему остается лишь внимательно следить за последующими фазами

их развития и дополнять и детализировать данные характеристики.

Вятская губерния, снабдившая Салтыкова материалами для возобновления литературной работы, не могла, как губерния не дворянская, дать писателю особенно ценных фактов для изучения многообразных сторон крепостных отношений.

Конечно, так как крепостной вопрос становился мало-по-малу злобой дня, то он не мог не найти себе отклика и в «Губернских очерках», поскольку это допускалось тогдашней, особенно щепетильной к данной теме цензурой. Но в общем, разбросанные в очерках указания на жестокость по отношению к дворовым и крестьянам и на разные другие злоупотребления помещичьей властью не представляют, как впрочем и все другие относящиеся к этому времени произведения наших беллетристов, ничего особенно яркого или заметного. Гораздо значительнее другие наблюдения писателя, по поводу которых Добролюбов сказал, что в «массе народа имя Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью».

Раньше, касаясь детских лет жизни писателя, я говорил уже о том, как, под влиянием озарившего мальчика «просияния», он с удивительною чуткостью сумел подслушать и уловить проникновенную идеологию простого человека. Теперь случайные встречи с богомольцами и странниками дают ему возможность проверить свои детские наблюдения и подкрепить их новыми фактами из той же малодоступной для изучения области. Но здесь автор пошел несколько дальше простого, об'ективного исследователя идеологических построений народа. Он как будто стремится ассимилировать себе народную идеологию противопоставив ей грубо-реалистическое существование других слоев населения. Словом, эти страницы очерков отдают сильным славянофильским душком. Не будем удивляться этому.

Мы знаем, что еще на заре своей сознательной жизни он

был далек от славянофильства. Позже, после осуществления крестьянской реформы, он стал одним из злейших врагов славянофильства. Но в период «Губернских очерков» его настроение было совсем иное. В письме к И. В. Павлову, написанном в 1857 г., он высказывается по этому поводу с определенностью, не допускающею никаких сомнений. «Признаюсь,—пишет он,—я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления. В нем одном есть нечто, похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития».

Салтыков пошел здесь в своем увлечении, быть может, дальше других, но в это предреформенное время славянофильство вообще привлекало к себе все симпатии лучших, прогрессивнейших элементов русского общества. В это время славянофилы шли впереди даже западников, выступив с широкой практической программой освободительной реформы, программой, которую они к тому же с огромной настойчивостью, несмотря на репрессии, пытались проводить не только словом, но и делом.

На первый взгляд могут показаться взаимно друг друга исключающими взгляды сатирика, с одной стороны, на народ с его созидающей нравственной силой, а с другой—на глуповцев, потеющих перед великодушной богиней. Но необходимо различать, что в первом случае писатель имеет в виду народ исключительно как «крестьянскую массу» или, вернее, как идею крестьянской массы, идею, которая дальнейшим процессом мышления возносится на степень идеала. Тогда как во втором случае перед взором сатирика стояла разношерстная толпа, живая, действующая и в этом смысле служащая непосредственным объектом сатиры. Такое об'яснение принадлежит самому Салтыкову, который несколько позже, в 1871 г., и по другому случаю горячо защищал себя от обвинения в глумлении над народом. «Мне кажется,—комментировал он одну из удачнейших своих сатир—«Историю одного города»,—что в слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий со-

бою известную идею... Первому, выносящему на своих плечах Бородавкиных, Бурчеевых и т. п. я, действительно, сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием».

Не прерывая литературной работы, Салтыков продолжает в то же время и свою службу по м-ву внутренних дел, сначала в качестве чиновника особых поручений при министерстве, а потом, и в роли вице-губернатора (в Рязани и в Твери). В 1862 г. он выходит в отставку и скоро, вместе с Некрасовым, становится во главе «Современника». В конце 1864 г. он снова поступает на службу, на этот раз по м-ву финансов, а в 1868 г. снова и уже навсегда покидает службу и с этого времени всецело и безраздельно отдается литературе.

Служба Салтыкова не могла не оказать влияния на оценку, которую давали в журналистике того времени его литературной деятельности. Его называли «бюрократом» (Ржевский), «действительно-статским прогрессистом» (Писарев), награждали и иными сильно-действующими эпитетами, выбором которых в те времена вообще мало стеснялись в пылу литературной полемики.

Касаясь «Губернских очерков», я имел случай отметить, как отразилась на этом произведении позиция, с которой сатирик метал свои стрелы. Позднее в полемике с Ржевским на тему «об ответственности мировых посредников», Салтыков раскрывается для нас с этой своей стороны еще более определенно. На заметку Ржевского, обозвавшего его «бюрократом», Салтыков отвечает в 1861 г., что слово «бюрократ» может казаться ужасно ругательным разве лишь в представлении Собакевичей, Манилловых и Ноздревых. Его же оно нимало не пугает. К тому же—уверяет Салтыков—у нас «бюрократии нет и не может быть по той естественной причине, что нет еще в виду земства». Наконец, процитировав даносительного свойства намек Ржевского на увлечение «известной школой реформаторов, желающих во что бы то ни стало благодетельствовать низшим классам», сатирик не

без торжества над своим противником замечает: «вот оно, истинное-то значение слова «бюрократ».

Странным кажется, что Салтыков, который еще в 1857 г., в представленной им докладной записке, ратовал против чрезмерного у нас господства бюрократии, теперь, в 1861 г., отрицает даже самое ее существование. Но дело в том, что некоторая неясность во взглядах Салтыкова на этот вопрос так и остается неразрешенной до конца его жизни. Интересно в этом смысле признание, сделанное им уже в 70-х годах.

Он сознается, что русская бюрократия всегда представляла в его глазах «какую-то неразрешимую психологическую загадку», потому что, при всех усилиях выработать из нее бюрократию, она ни под каким видом не хочет сделаться ею. Старого Держиморду он решительно отказывается назвать бюрократом. Какой же это бюрократ,—восклицает сатирик,—когда, имея поручение превращать бытие обывателя в небытие, он в одну минуту готов за двугривенный из сократителя сделаться другом вашего дома? Какой же это бюрократ, когда простой двугривенный способен «прояснить его мысли и вызвать в нем те лучшие инстинкты, которые склоняют человека понимать, что бытие лучше небытия?.. Как хотите, а это своего рода habeas corpus». Напрасно старались явившиеся на смену Держиморде безукоризненные люди уверять, что бюрократия не праздное слово, никто не поверил им. Жертвою их сделались лишь первые, застигнутые врасплох обыватели. И затем новые бюрократы должны были отступить перед «беззаветной наивностью» обывателя, который, на все их требования о прекращении бытия, упорно возражал:—«Да ты подумай, что ты сказал! Ты на бога-то посмотри!»—«С тех пор,—говорит сатирик,—отличительным характером русской бюрократии сделалось ироническое отношение к самой себе... Еще на глазах у начальства она и туда и сюда, но как только начальство за дверь, она сейчас же язык высунет и сама над собой хохочет».

Многое можно было бы возразить на это обобщение, пользуясь аргументами, щедро рассыпанными в произведениях самого же сатирика. Можно было бы противопоставить этим смеющимся над собой бюрократам, мрачные фигуры «надорванных», «ташкенцев», кое-кого из «помпадуров» и проч., и проч. Но не в этом сейчас дело. Дело в том, что и в возражении Ржевскому, и в только-что цитированном отрывке о Держиморде и его преемниках ясно чувствуется желание защитить бюрократию—в одном случае, категорическим отрицанием ея существования, в другом—целым рядом смягчающих ее деятельность оговорок.—Сатирик хочет как-будто бы провести такую мысль: личный состав бюрократии плох, в самой системе ее чувствуется тенденция к прекращению обывательского бытия. Но... но, «покуда что», жить еще можно, и не только можно, но даже должно, всячески противодействуя попыткам изменить сложившиеся отношения.

Само собой разумеется, что эти речи мог говорить только тот, кто сам был плотью от плоти, костью от кости той самой бюрократии, с которой он сражался, обличая все ее недостатки. И надобно заметить, что это родство с бюрократией, которое в произведениях Салтыкова сказывается особенно ярко именно потому, что он неоднократно и прямо подходил к наиболее чувствительным злобам дня,—это родство характеризует всю русскую литературу, все наше общественное движение 60-х и 70-х годов. Потому что и литература и общественное движение этого времени были делом разночинца, человека, вышедшего именно из чиновной среды и потому, «покуда что», с ней мирившегося, ей доверявшего. Вместе со всею разночинною литературою Салтыков решительно и резко протестовал против претензии дворянства на какую бы то ни было особливую роль в политической жизни страны.

Резкая определенность, с какою Салтыков встал в отношении к дворянскому вопросу, сильно подчеркивает ту шаткость, те колебания, какие он обнаруживает в этом периоде своей литературной деятельности в своих взглядах на толь-

ко-что выступивших на сцену людей нового типа, которых, с легкой руки Тургенева, окрестили «нигилистами», или—по терминологии реакционной печати—«мальчишками». Вопросом о «нигилистах» наша журналистика занялась, как известно, с момента появления в «Русском Вестнике» 1862 г. «Отцов и детей» Тургенева, при чем роман этот сразу же внес в литературную полемику такой самбур, что только время могло постепенно расчистить почву для правильного его понимания.

Начать с того, что Катков ужаснулся на первых порах, увидев в доставленном ему романе апофеозу «Современника», а тот же «Современник», устами М. А. Антоновича, выразил не только ужас, но и негодование по поводу «чистой клеветы на литературное направление» и обрушился на Тургенева шумными потоками брани и злословия. Когда же выступил Писарев с категорическим и смелым заявлением о том, что Базаров представляется ему блестящим художественным воплощением лучших стремлений и симпатий молодого поколения, в журналистике всех оттенков и направлений поднялась страшная шумиха, и среди этой литературной какофонии стало трудно разбираться в отдельных голосах и мнениях. Голос Салтыкова принадлежал, именно, к числу неразборчивых. Он не раз вмешивался в полемику, в которой то горячо и жестоко наступал, то целым рядом оговорок смягчал свои приговоры.

Теперь мы знаем, что вся повесть Тургенева, как он сам признавал в письме к Случевскому (1862), «направлена против «дворянства, как передового класса», что Базаров повторяя опять-таки слова самого автора из письма к Герцену (1862), не мог не подавить собою «человека с душистыми усами», потому что повесть давала картину «торжества демократизма над аристократией». Как же спрашивается, случилось, что Салтыков, все время сам сражавшийся против «дворянства, как передового класса», не понял тогда же и не оценил своего союзника? Случилось такое очевидное для нас недоразумение по той простой причине, что старик,

всею мощью огромного таланта боровшийся за интересы демократии, сам демократом не был. Он очень хорошо знал всю разночинную окружавшую его со всех сторон массу,—всех этих «глуповцев», которые и теперь, в эпоху «возрождения», «оказываются попрежнему бедными инициативой, шаткими и зависимыми в убеждениях; попрежнему гибко и недерзновенно пригибаются они то в ту, то в другую сторону, беспрекословно следуя направлению ледовитых ветров, цепенящих родную их равнину из одного края в другой». Он знал этих глупцев, смеялся над ними, чтобы разбудить их, плакал над их беспомощностью, болел за них, защищал их. И вдруг из серых рядов этой жалкой массы встает гордая и сильная фигура Базарова, чуждая глуповской мелочности и пошлости, встает не как случайное явление, а как тип, выдвинутый низами глуповской жизни. Салтыков просто не поверил в Базарова и в первой же статье, в которой ему пришлось коснуться «Отцов и детей», он уверяет, что повесть Тургенева трактует о том, «как некоторый хвастунишка и болтунишка, да вдобавок еще из проходимцев, вздумал прицарить за важной барыней и что из этого произошло». Почти год спустя он высказывается все в том же смысле недоверия к новому течению. Он убежден, что «так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты», и что со временем «из пламенных мальчишек образуются не менее пламенные каплуны».

Много колких и ядовитых слов было брошено Салтыковым в «мальчишек» в течение 1863—1864 гг., но я не буду вспоминать эти им же преданные забвению страницы из его литературной деятельности.

О том, что сам автор писал их без достаточного разумения, свидетельствуют его же многочисленные оговорки и пояснения, которыми он должен был сопровождать свои статьи, чтобы хоть сколько-нибудь рассеять сгущавшиеся вокруг «Современника» тучи нареканий и недоразумений. Не буду

разбираться и в оговорках, потому что никакие оговорки не могли помочь там, где основная мысль была не ясна для самого автора. Напомню лишь единственно существенную на мой взгляд оговорку, тем более, что ею дорожил и сам Салтыков, ее одну из всего написанного о нигилизме, сохранивший для «Полного собрания сочинений». Свидетельствуя здесь об «освежающей силе» мальчишества, сатирик пишет: «Не будь мальчишества, не держи оно общество в настоящей тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь».

Недостаточно определенное отношение к такому крупному общественному явлению, как нарождение «мальчишества», не могло не отразиться и на отношении сатирика ко всей эпохе «возрождения Глупова», в ее целом. Эпоху эту и главным образом период, следующий за освобождением крестьян, сатирик оценивает с точки зрения обуявшего глуповцев «конфуза». «Конфуз»—это первые проблески критической мысли, направленной на переоценку сложившихся веками отношений, это, по словам самого же сатирика, «честная, благотворная струя, которая спасает Глупова от окончательного разложения».

Но, разумеется, «конфуз» не мог не вызвать из недр жизни и множества отрицательных, так сказать, подлежащихся под конфуз типов и даже целых общественных групп, блестящей характеристике которых посвящено немало статей и очерков сатирика в данном периоде. Это наводит сатирика на мысль, что в нашем конфузе нет ни последовательности, ни добросовестности. И поэтому не знавший конфуза старо-глуповцев представляется ему теперь даже «милым». Он был нелеп, он был отвратителен, но все же он мил уже потому, что «был не ужасно, а смешно отвратителен. Новый глуповец продолжает быть отвратительным и в то же время утратил способность быть милым. Его прикосновение положительно оскверняет».

Необоснованность этого жестокого обобщения вскрывается

сама собою, а полная безнадежность его поражает своей неожиданностью, тем более, что в данный период деятельности в Салтыкове чувствуется особенная бодрость и даже—скажем—жизнерадостность настроения. В его сатире ясно слышатся временами раскаты здорового смеха, которые замирают лишь постепенно, по мере удаления от эпохи «возрождения» Глупова. И, очевидно, сам сатирик не менее нас был удивлен неожиданностью подведенных им итогов. По крайней мере, заканчивая «Сатиры в прозе», он обрывает их не менее неожиданным и опять-таки необоснованным, но зато полным оптимизма заявлением, что новоглуповец уже не повторится в нашей истории, что он—«последний из глуповцев».

Неустановившемуся пока еще в данном периоде отношению Салтыкова ко многим явлениям общественной жизни соответствуют и неровности его стиля. Чувствуется иногда подражание Гоголю, которое местами граничит даже с простой копировкой образца, как, например, в характеристиках Зиновея Захарыча или Семена Михайлыча в «Невинных рассказах». Местами ухо режет утрированная грубоватость стиля. И это особенно чувствуется в полемических (не вошедших в собрание) статьях, в которых сатирик, по выражению одного современного критика, бросался на своих противников «с тележною оглоблею в руках». Но в общем, и здесь перед нами уже целые очерки, выдержанные в том оригинальном, образном, богатом удивительными сочетаниями и переходами настроений стиле, которому никто даже не отважился подражать, потому что он неподражаем.

IV.

С 1868 г. Салтыков вступает в редакцию «Отеч. Записок» и становится бессменным летописцем русской жизни, за эволюцией которой он следит с тонкой наблюдательностью и неутомимой добросовестностью. Процесс разложения стародворянской культуры и возникновения на ее развалинах

нового буржуазного строя закрепил сатириком в самых выпуклых и интересных его моментах.

Прежде всего внимание Салтыкова устремилось в сторону пережитков крепостного права, живучесть которого после реформы 1861 г. поразила сатирика. Изменились формы общественных отношений, утверждал он, но сущность их остается нетронутой.

И в самом деле, освобождение крестьян от крепостной зависимости, казалось, сразу должно было бы перевернуть весь строй хозяйственной жизни страны, сделав неизбежным переход барщинной системы хозяйства в капиталистический. На самом же деле, этого не произошло. Не говоря уже о том, что манифестом 19 февраля сохранена была сословная неравноправность крестьянства, оставлявшая значительную долю его зависимости от правящего класса, этот последний, в момент осуществления реформы, приложил огромные усилия к тому, чтобы «оставить все по-прежнему» и в своем экономическом господстве. С целью лишить крестьянское хозяйство всякой самостоятельности и прикрепить крестьян все к той же помещичьей усадьбе, помещики прибрали к своим рукам весьма существенные части крестьянских наделов, как-то «отрезные земли», леса, луга, водопои, выгоны и проч. Недаром же помещик Клубков из «Пошехонских рассказов», которого большинство соседей звало «умницей» и «делягой» и только очень немногие называли «злодеем», откровенно называл крестьянские наделы «надельными землями» и с большой ловкостью ловил в этих западнях окрестных крестьян.

Впрочем, сам Клубков не типичен для рассматриваемого момента. Он умел «приспособиться» к реформе еще задолго до эмансипации. Вообще же говоря, помещикам, в момент эмансипации, было над чем призадуматься. Все-таки наступал переходный момент, когда помещикам вдруг, сразу, после вековой привычки к испытанной рутине, пришлось приспособиться к новым отношениям, и притом к отношениям сложным, запутанным, которые нередко жестоко, ценою полного разорения, наказывали и за излишнюю приверженность к ста-

рине, и за излишнюю же склонность к непроверенным новшествам. Приспособляться к изменившимся условиям оказалось не так-то легко, и те легковерные, которые с реформой связывали коренные перемены в установившихся отношениях и возымели желание устроить у себя в имениях «все по новому», терпели решительное фиаско.

Более удачливыми оказались те помещики, которые действительно не поверили реформе и постарались тут же, немедленно восстановить, с необходимыми, конечно, вариациями, крепостное барщинное хозяйство. Конечно, соответственно новым отношениям должна была измениться и психология помещиков. «Господа», которые при крепостном праве могли позволить себе барскую роскошь всякого рода мечтаний, теперь превращались в заведомых и сознательных хищников. Красивые позы благородных мечтателей были не к лицу людям, каждый шаг которых клонился к тому, чтобы прижать и подкузмить «меньшого брата», пользуясь его угнетением и нищетой. От сатирика не ускользнуло это характерное для переходного времени явление, которое он и воплотил в живом художественном образе кузины Машеньки.

Машенька при крепостном режиме была худенькой, почти прозрачной барышней, которая любила помечтать о вечности и красоте, об очищающем страдании и о добре. После реформы она превращается в жадную приобретательницу, с большим созидательным упорством прибирающую к рукам не только «мужичка», но и своего брата дворянина, не сумевшего приспособиться к новым условиям. Машенька с утра до вечера плетет свою паутину, и в этой работе совершенно забыла, конечно, о волновавших ее когда-то вопросах. Эти мелочные расчеты, со всевозможными прижимками, может быть, и типичны для мелкопоместного дворянина, который и в дореформенное время вел борьбу за существование при помощи постоянной прижимки собственных своих крестьян, но, во всяком случае, здесь более ярко вскрывается характеристика женщины-дворянки, на плечах которой и в крепостную эпоху лежали все хозяйственные мелочи и заботы.

И поэтому-то помещица скорее и лучше помещика могла приспособиться к хищническому и кулацкому хозяйству, которое возникло на развалинах крепостного права. Сатирик уловил это характерное для пореформенной эпохи явление и свойствами хозяев-хищников, с успехом соперничающих с хищниками, вышедшими из крестьянской и мещанской среды, наделил в своих произведениях главным образом дворянок, с одной из типичных представительниц которых мы только-что познакомились.

Вообще же, движение дворян, устремившихся приспособить реформу к своим потребностям, пошло по трем основным направлениям: в сторону государственной службы, пристроиться, куда стремилось особенно молодое поколение, в область деловой спекуляции, куда влекло главным образом зрелых представителей дворянства, чувствовавших тем больший предпринимательский зуд, чем скорее таяли в их бумажниках выкупные свидетельства, и, наконец, в сторону земских учреждений. Представители этих последних, так называемых «сеятелей», меньше всего возбуждали опасений в сатирике, потому что, по его наблюдениям, в деревне остались после эмансипации самые слабые особи.

Впрочем, строго разграничивать все эти три течения нельзя, потому что, по словам сатирика, сказанным по другому поводу, все они «друг дружке либо родня, либо кумовья были. Хлобыстовские родня Дракиным, Дракины в свойстве с Расплюевыми, а Расплюевы чуть ли не приходятся внучатными самому Гвоздилову. Вот они стена стеной и стоят». Дети здесь сошлись с отцами, отцы с детьми сошлись на одной общей почве, в которую глубоко и цепко впустили свои переплетающиеся корни, различные по силе и величине, но равные по той энергии, с которой все они принялись за хищническое истощение своей родины. Как класс, наиболее организованный наиболее сплоченный и, в лице своих наиболее сильных представителей, непосредственно стоящий у кормила власти, дворянство сумело использовать в своих интересах все выгоды пореформенного режима. О дворянской конести-

туции теперь не было и помина. Дворяне во-время успели осмотреть позиции и поняли, что никакая конституция, хотя бы самая распредворянская, не обеспечит их благополучия, так, как может обеспечить их произвол самодержавного режима. Хищнические и реакционные тенденции,—как справедливо отметил сатирик еще в «Признаках времени»,—неизменно сопутствуют друг другу, Обиралов и дантист—действующие лица фантастического балета «Мнимые враги»—фигурируют всегда рядом, являясь друзьями и наперстниками единой «отечественно-консервативной силы», и в то время, когда один поторошит мужиков, другой обращает в пепел их зубы.

«Дневник провинциала» запечатлевает эту «отечественно-консервативную силу» в яркой художественной картине. На столицу с прожорливостью саранчи двинулась дворянская «губерния» во главе со своими предводителями. Здесь, в столице, дворянами энергично закидываются удочки по части всевозможных концессий, а также «запускаются гусары» и по административной части, которая к тому же, вследствие реформирования большинства центральных и местных правительственных учреждений, сильно разрослась. В сатирах Щедрина это разрастание ведомств находит отзвук во множестве новых департаментов и комиссий, которым он присваивает свои, в большинстве случаев, весьма характерные наименования. Так, мы встречаем у него департаменты раздач и дивидендов, пересмотров и преуспеяний, препон и оговорок, распределения богатств, государственных умопомрачений, комиссию оздоровления корней и т. д.

Для того, чтобы познакомить влиятельных особ со своими административными способностями, провинциальные дворяне имеют наготове разные проекты по части упразднений и устранений, которые и подносятся на благоусмотрение особ. Таких проектов привозится в столицу сотни, но тем не менее особы охотно выслушивают их. Современники Щедрина без смеха не могли читать проекты, в изобилии предлагаемые от имени разыгравшихся дворян в «Дневнике

провинциала»: они называли эти проекты шаржем, нелепостью и т. д. Не смеялся один лишь Салтыков. Он говорил, что если в данный момент таких проектов в самом деле ни в одной из петербургских канцелярий пока еще не обсуждают и не разрабатывают, то возможность их заложена в самой системе русского абсолютизма. Сегодня наше феодальное дворянство, в интересах которого собственно и работает весь наш государственный механизм, чувствует себя достаточно защищенным точкою или тире к реформам, завтра, под напором враждебных ему социальных течений, оно потребует мер более решительных.

Реакционная прямолинейность, выраженная в проектах о временном прекращении наук, об оглушении, о расстреляниии и благих оного последствиях и т. д., характеризовала главным образом старое поколение дворянства. Для занятия новых пореформенных должностей требовалось большая приспособленность к новым условиям. И поэтому-то сатирик, наблюдая тот поток, который из помещичьих питомников хлынул в настежь растворенные для дворян двери чиновничьих канцелярий, имеет в виду главным образом молодое поколение дворян.

К изучению этого характерного для пореформенной эпохи явления Салтыков подходит исподволь, ощупью, лишь постепенно ориентируясь в нем. Первые свои обобщения, пока еще не охватывающие самой сущности наблюдаемых фактов, а потому еще неясные, туманные, он, по своему обыкновению, преподносит — в «Признаках времени» и в «Письмах о провинции» — в публицистической форме, и лишь спустя некоторое время, вполне освоившись с материалом, он дает — в «Господах ташкентцах» и в некоторых из очерков «Помпадуры и помпадурши» — яркую картину нравов интересующей его среды.

В «Признаках времени» Салтыков посвящает целую главу «легковесным». Они, по словам автора, встречаются во всех слоях общества, но в данном случае он, очевидно, разумеет главным образом провинциальную чиновничью молодежь.

Это — оппортунисты, стоящие на распутьи и ожидающие указаний из компетентных сфер. Полнее и определеннее высказывается сатирик на эту тему в «Письмах о провинции», главный интерес которых сосредоточен на анализе трех групп провинциальных чиновников — «историографов», «пионеров» и «складных душ». Слишком расплывчатая и неопределенная характеристика «пионеров» мало типична для нового поколения чиновников, но в общем взаимные отношения «историографов» и «пионеров» очерчены правильно. Земские и новые судебные учреждения и в самом деле первые годы причиняли губернаторам много беспокойства и хлопот, даже совершенно независимо от степени покладливости земских и судебных деятелей. Вопрос заключался не в свойствах характера этих деятелей, а в «несогласованности» новых учреждений с обширными полномочиями губернаторской власти. И пока целыми ворохами министерских циркуляров, а затем и законодательных актов новые учреждения не были окончательно «согласованы», т. е. лишены всякого подобия прежней самостоятельности, все же в некоторой степени мешавшей произволу административной власти, «историографы», «помпадуры» го ж, не могли не усматривать в них элементов «революционных», т.-е. враждебных тем крепостнически-феодальным отношениям, продолженье которых было в интересах господствующего сословия.

«Помпадурам» — представителям административной власти на местах — выпадала на долю крайне ответственная задача: надо было «согласовать» вновь возникшие ведомства и учреждения с прерогативами старой власти; надо было «согласовать» самый принцип законности с принципом «сильной власти», которая ни в какие рамки законности не укладывалась; надо было проводить реформы, оплодотворяя их спасительным страхом; надо было, наконец, делать вид не исключительно дворянского ставленника, как это было до крепостного права, а казаться чем-то вроде посредника среди глухой борьбы противоположных интересов выступав-

ших на историческую арену социальных групп. Помпадур обязан был иметь свою политическую программу, и это одно целой стеной отделяет администратора нового времени от его дореформенных предшественников. И на примере Феденьки Кротикова («Помпадур борьбы») сатирик показывает, что помпадуром сделаться теперь не так то легко. Нужно иметь для этого известные данные. Чебылкин и Зубатов для этой роли не подходят теперь совершенно. Полковник Сдаточный попадет впоследствии в генерал-губернаторы, но сейчас для роли пореформенного помпадура он слишком прямолинеен и груб. Помпадур начала 70-х гг. должен был обладать свободными манерами, изучить и понять «дух времени» и, наконец, иметь программу, которая, во-первых, отвечала бы настроению правящих сфер в данный момент и, во-вторых, была бы настолько эластична, чтобы годиться при всех колебаниях и изменениях этого настроения.

Спустимся ниже и от руководителей внутренней политикой перейдем к исполнителям.

Впервые эти предъявляющие свою полную готовность исполнители помпадурских предуказаний появляются в сатире Щедрина в широкой и огромной по замыслу картине, объединенной общим названием «Господа ташкентцы». Термины «Ташкент» и «ташкентцы» употребляются автором, конечно, не в географическом, а в «отвлеченном смысле — в смысле страны, лежащей всюду, где бьют по зубам, и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем». Такая страна оказывается, конечно, самой подходящей средой для цивилизующей миссии ташкентцев. Ташкентцы прежде всего талантливы. А российская талантливость находится в теснейшей зависимости от пришказания. Свобода от наук не только не мешает, но сообщает человеку даже букет свежести, которая, в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой похотливости. Само собой разумеется, что такая талантливость может считаться действительной, где и покуда существует беспредметность профессии или, говоря другими словами, где и покуда можно

все сапоги шить на одну ногу. Аборигены Ташкента в массе своей, пока еще не потребовали сапог, сшитых по мерке, и потому перед талантливостью открыты широкие перспективы. В тех же случаях, когда давальцы заявляют о своих развившихся вкусах и требованиях, талантливость легко находит себе выход, провозглашая об открытых ею «измене» и «бунте». Нет сомнения, что ташкентцев прежде всего следует искать в пестрой свите прихвостней, окружающих особ, наделенных полнотою власти, каковы помпадуры столичные, стоящие у самого источника административного всемогущества, и провинциальные, по передоверию и самовольно мудрствующие в «своих губерниях». Сатирик, однако, не останавливается на этой группе ташкентцев, организовавшейся и выработавшей себе известные традиции еще в дореформенную эпоху. Его внимание привлекают на этот раз совершенно новенькие, только-что оперившиеся экземпляры этой породы, экземпляры, в огромном числе появившиеся в реформированных учреждениях. Сатирик ведет читателя в новые суды и оттуда извлекает ташкентцев на всеобщее позорище.

С чинов прокурорского надзора и именно с их ташкентской ретивости по части политического сыска и начинает как раз сатирик свою экскурсию в область новых судебных учреждений. «Ташкент еще завоеван не был; на западе дело было покончено; мы, ташкентцы, были свободны, но страсть к завоеваниям не умерла. Ничего другого не оставалось, как обратиться внутрь»... И они обратились, призванные в только-что организованное общество «для искоренения зла», под которым, очевидно, и надо разуметь институт прокурорского надзора. Одно непременное условие требовалось для вступления в это патриотическое общество — это «русская душа». В связи с тем, что сатирик говорил о нашей «российской талантливости», можно предположить, пожалуй, что здесь имеются в виду какие-нибудь национальные особенности великорусского племени. Однако, на самом деле, такое предположение не имеет за себя никаких осно-

ваний. Напротив, сатирик с достаточной твердостью подчеркивает, что речь идет не о национальной, а классовой психологии дворянства в рассматриваемых формах социальной жизни России. «Российскою талантливостью» и «русской душой» он ни в коем случае не пожелал бы обделить польских, а тем более прибалтийских дворян, которые, в качестве наиболее сплоченной и организованной дворянской группы, занимали и занимают в рядах всероссийского дворянства весьма видное место.

Генеалогии ташкентцев посвящены сатириком четыре параллели «ташкентцев приготовительного класса». Это собственно уже не сатиры, а вполне объективные исследования, поскольку может быть объективным произведение, в которое художник вкладывает свою индивидуальность, подчеркивая интересующие его стороны явления и отодвигая на задний план, а то даже и просто игнорируя те стороны, которые выходят за пределы его обобщающей мысли .Начав с прокуроров, сатирик захватил в сферу своих наблюдений весь суд в полном его составе, от председателя до пристава, от присяжных заседателей до адвокатов включительно, суд во всей его красоте, которой так восхищались либеральные законоведы того времени. И как раз, именно, это восхищение перед новым судом, это напряженно бережное к нему отношение прежде всего и вызвало реакцию со стороны сатирика. Суд, как хрупкая игрушка, которую сегодня дали а завтра и отнять могут, которая сегодня цела, а завтра же может быть разбита и изуродована,— да это вовсе не «всамэмделишний» суд, а только игра в него. Так — думаю — рассуждал сатирик, когда он писал свою блестящую пародию на суд, разыгранную в заведении, где воспитывались «государственные младенцы». Читая описание разыгранного воспитанниками судебного процесса по поводу пропавшего у мещанина Потапова медного гроша, читая искусно скомпанованные речи прокурора и защитника, забываешься и думаешь, что и в самом деле сидишь где-нибудь в окружном суде и слушаешь речи

наших заправских знаменитостей по адвокатской и прокурорской части.

В этой изящно написанной картинке каждому из участников процесса воздается должное: председатель суда показывает фокусы формалистики; судьи без устали совещаются; присяжные заседатели отлынивают; прокурору в похищении ломанного гроша чудится полное крушение «священнейших основ общества», а в возражениях адвоката — покушение на престиж его прокурорской власти; наконец, адвокат в заключительной части своей речи очень удачно формулирует настроение свое, как и всех участников процесса, главная задача которых, по его убеждению, сводится к тому, чтобы оправдать «доверие начальства», милостиво разрешившее эту игру в суд.

Через неделю после уголовного процесса воспитанники «заведения» рассчитывали поставить процесс политический против «стриженных и лохматых». К сожалению, однако, сатирик не заинтересовался обещанным продолжением игры «государственных младенцев», и к политическому процессу возвратился лишь десять лет спустя, когда страну кошмарным гнетом давило уже положение об усиленной охране, когда «новый суд» был уже в корне изуродован и когда говорить о нем Салтыков мог уже не с той разрешающей иронией, какая чувствуется в только-что цитированной нами сатире, а с ядовитым и гневным сарказмом. Я имею в виду «злополучного пискаря или драму в Кашинском окружном суде» — сатиру являющуюся эпизодом «Современной идиллии». В то время, как в известном нам деле о похищении медного гроша суд даже излишне подчеркивал обрядовую сторону процесса, играл ею, здесь, напротив, вся процессуальная сторона дела была сведена на смарку, а с ней вместе на смарку пошли и все гарантии, на которые в праве был рассчитывать подсудимый.

К земству, с первого же момента его возникновения, сатирик отнесся иронически, «приветствуя» в нем продолжение дворянских учреждений. Вскоре затем он отметил уже

как факт «самоограничительные» тенденции земства. В целом ряде своих сатир он показывает, как под воздействием «пререканий», которые встретило земство извне, со стороны административных учреждений, и тех реакционных сил, которые таились в его собственных недрах, земство «добровольно сузило свои задачи». И так как «сужение задач вообще плохая школа для вновь вступающих учреждений», то земство заранее обрекало себя на бесплодие. Сатирику пришлось считаться не только с фактом самоограничения, но и с популярным в то время оправданием этого факта. Сами себя низведшие на степень «силы комариной», земцы объявляли провинцию «неподготовленной для более широкого понимания задач земской деятельности. «История с этой неподготовленностью,— замечает по этому поводу Салтыков,— довольно забавная история: это своего рода несокрушимая крепость, в которую мы, провинциалы, охотно укрываемся всякий раз, когда приходится держать ответ перед общественным мнением... Неужели, и в самом деле, нужно особенную подготовку, чтобы сразу освоиться с такою, например, вещью, как отмена телесных наказаний?... Право на обеспеченность человеческой личности и на свободу человеческого труда, право на неприкосновенность домашнего очага — все это такие же простые и удобопонятные права, как право считать деньги в своем кармане, право носить черный или голубой сюртук. Чтобы пользоваться этими правами, не требуется ни особенной мудрости, ни чрезмерных усилий, нужно только, чтобы они были под руками».

Существовало у земцев и другое, не менее в те времена популярное объяснение добровольного самоограничения — это боязнь раскидаться и разбросаться. «Ограниченность круга нашей деятельности,— говорили они,— есть залог ее прочности». «В умствования не пускаемся, идей не распространяем—так-то-с! — говаривал земец Промптов из «Благонамеренных речей»,— наше дело пользу приносить. Потому — мы земство. Великое это, сударь, слово, хоть и не

казисто на взгляд. Вот в прошлом году, на Перервинском тракте мосток через Перерву выстроили, а в будущем году, с божьей помощью, и через Воплю «мост соорудим»... Эта самая распространенная разновидность земских деятелей,— самодовольная ограниченность, сознавшая себя мудростью, была, можно сказать, больным местом сатирика. «Личности этого закала пользуются в толпе почетом и авторитетом», но для него самого «из всех человеческих типов,— признается он в «Признаках времени»,— это самый надоедливый и нестерпимый». В сборнике «За рубежом» сатирик знакомит нас с другим таким же Прохватовым, фигурирующим здесь то под именем Марата, то под общим названием «земца». Азбучно — пошлые речи «земца» доводят автора до исступления.

«Он однообразен до утомительности и беден фантазией до нищенства. За душой у него медный грош, и он даже не старается ввести насчет его в заблуждение». Беседа с земцем вызывает в авторе желание сопоставить его пошлую фигуру с такими типами, как граф Твердоонто или «безшабашные советники» Удав и Дыба. Граф Твердоонто лелеял в голове своей какую-то смутную мысль о вселенском смерче. «Безшабашные советники» тоже мечтают о «такой конституции, чтобы лбы затрещали»; в беседах с автором все эти персонажи городили такие двусмысленности, что трудно было понять: не то они либеральничают, не то «хамкнуть» собираются. И тем не менее, во время беседы с земцем, автор с благодарностью и даже с любовью вспоминает их. Все они оказываются «приятными людьми» по сравнению с земцем, потому что те, по крайней мере, «были довольно разнообразны в выборе сюжетов для собеседования и сверх того обладали кое-какою фантазией». Ничего подобного у «Марата» нет.

Наступил, однако, момент, когда и земцы заговорили о политике. И это окончательно переполнило чашу терпения сатирика. Потому что по нравам российского дворянства тяготение к политике было равносильно тяготению к обузда-

нию. И «спросите меня — восклицает сатирик, — что либеральнее: обуздать человечество при помощи земских управ или при помощи особых о земских повинностях присутствий, клянусь,— я не найдусь даже ответить на этот вопрос»... Сатирик имеет в виду, очевидно, многочисленные постановления земских собраний, посылавшиеся в Петербург в виде проектов откровенно реакционного характера. Они, быть может, по форме своей были несколько мягче и даже великодушнее тех проектов «о расстрелянии и благих оного последствиях», которые в свое время сочиняли Пазкудников и К°, но по существу клонились все к той же цели укрепления старых вотчинных прав помещиков. Мысль о такой комбинации прямо пугает сатирика. «Ведь тут вопрос идет уже не о лужении, а о проникновении в сферу шиворота», и сатирику кажется весьма недвусмысленным то обстоятельство, что, целясь вскочить на место Сквозника-Дмухановского, земец Дракин отнюдь не настаивает, что пойдет разными с ним путями. Он только обещает *превзойти* его. «И он, действительно, превзойдет!» — восклицает Щедрин, и в выборе между Сквозником-Дмухановским и Дракиным он решительно встает на сторону первого по следующим мотивам: во-1-х, Сквозников-Дмухановских сравнительно немного, тогда как «все Дракины между собою родственники, или свойственники, все сплелись и переплелись так, что и расплести невозможно. У всех у них свои общие интересы, свои общие сплетни и ненависти, свое общее свинство»; во-2-х, Сквозник-Дмухановский — человек пришлый и плохо знает статистику края, почему недра земли остаются иногда неограненными, а обыватели имеют возможность утаить в свою пользу: кто яйцо, кто поросенка; напротив, Дракин изучил статистику в тонкости; в-3-х, наконец, Сквозник-Дмухановский постылый, а Дракин излюбленный.

Противопоставляя эту резкую оценку земских учреждений, адресам земцев о призвании их «для окончательного искоренения скрывающейся в обществе ужасной за-

разы» [1], к участию в политической деятельности страны «на известных государственных началах», как осторожно именовались земцами в то время начала конституционные, сатирик писал: «всякая минута имеет свою опасность», и в настоящую минуту эту опасность, представляет Дракин.

Боязнь, что конституционные домогательства земства могут иметь успех, заставила его стать в ту же решительную и непримиримую оппозицию к земству, в какой он двадцать лет перед этим, в «Современнике», находился по отношению к таким же притязаниям дворянских собраний. Салтыков не изменил себе в этом отношении ни на иоту, и все, что я говорил о его тогдашних «бюрократических тенденциях на почве утопизма», может быть целиком отнесено и к его позднейшим настроениям. В этом отношении он непоколебим, несмотря на то, что им же самим написанная картина русской действительности говорит против него.

V.

В полном соответствии с ничтожным политическим и социальным значением нашей буржуазии в дореформенное время, она не играет почти никакой роли в первых произведениях сатирика. Нельзя, однако, не отметить, что и тогда еще, в эпоху «Губернских очерков», Щедрин обнаружил свою пророческую прозорливость, указав на совершающийся и в этой сфере нашей жизни перелом. «Старые порядки к концу доходят, а новых мы еще не доспели» — вот положение торгово-промышленной деятельности, как она рисовалась сатирику до освобождения крестьян.

Крестьянская реформа 1861 года, создавшая в России внутренний рынок, заменившая на фабриках крепостнический труд вольнонаемным, пустившая в обращение огромную массу свободного денежного капитала, положила для русской буржуазии начало новой эры. Ижбурдины и Палах-

---

1) В таких выражениях мотивировали земцы свои домогательства в новгородском губернском земском собрании.

востовы (купцы из «Губернских очерков»), питавшиеся главным образом от щедрот казенных поставок и находившиеся поэтому в рабском пленении у чиновников, ожили и начали приспособляться к новым формам общественных отношений. Первое время, по свидетельству сатирика, процесс приспособления у русских людей, свыкшихся с формами жизни дореформенного строя, шел сравнительно туго. Рассказ «В дороге», открывший серию очерков под общим названием «Благонамеренные речи», говорит о торжестве на русской почве иноземцев и иноземного капитала.

«Долит немец, да и шабаш!» — вопиют в один голос все кабатчики, все лабазники, все содержатели постоялых дворов. И вот, констатирует сатирик, ничего не остается делать, как согласиться с этим воплем, потому что вы видите собственными глазами и чуете сердцем, как всюду и на земле и под землей, и на воде и под водою,—всюду ползет немец. Дальше в рассказе даны многочисленные иллюстрации этого положения, с монотонными ссылками на евреев, французов, немцев, на Адамов Абрамычей, Анатолиев Филиппычей и Крестьян Иванычей, которые «из пятиалтынного норовят целковых наделать» и ведут свое дело с такой настойчивостью и ловкостью, что «русские нынче только кабаками занимаются, а прочее все к немцам отошло, как заверяет автора везущий его ямщик.

Быть может, в этом чересчур уже подчеркнутом факте «засилия», которое немцы, евреи и вообще иноплеменники «взяли» в области торгово-промышленной жизни нашей родины, есть некоторое преувеличение. Но, во всяком случае, основные этапы в развитии капиталистических отношений в России, как они последовательно отражались в сознании нашего сатирика, отмечены им вполне правильно. Не только в России, и в Западной Европе первые свои шаги капитализм проходит при помощи иноплеменников.

Рассказав в 1872 г. о расползании хищничества по всей стране под опытным руководительством «иностранного нашествия», сатирик ровно через год (в 10 кн. 73 г., в статье

«Опять в дороге») имеет возможность констатировать и самостоятельное выступление истинно-русского хищника. В центре сатиры поставлена фигура типичнейшего русского кулака Хрисашки, которого местный обыватель в глаза называет теперь не иначе, как Хрисанф Петрович господин Полушкин-с. Еще не так давно Хрисашка служил в приказчиках — теперь он хватает так, словно у него не две, а четыре руки. Всю окружающую местность «под свою державу подвел» и чувствует себя господином и столпом. Амвон себе в церкви устроил, где прежде дворяне стаивали, алым сукном обил, — стоит, охорашивается.

Хищники, выплывающие из самых недр крестьянской среды и быстро делающиеся господами положения, поражают сатирика новизною своих приемов. Они так неразборчивы в своих средствах, так жестоки в своих отношениях к людям, что вся их деятельность представляется сатирику отрицательною даже с точки зрения ее внутренней целесообразности. Не подрубают ли они сами тот сучок, на котором только-что уселись? Ведь там, где прошлись эти хищники, вместо былого богатства остались одни почерневшие пеньки, а не на пеньках же будут они создавать свое будущее благополучие. Этот вопрос долго оставался для Щедрина загадкой. Да и сами хищники не разрешали ее. Их выручает только тот бессознательный оптимизм, который вообще присущ любимцам истории. Когда Разуваев («Убежище Монрепо») захотел одобрительно отозваться о «нонешних делах», он облек свою похвалу в такую странную формулу: «Народ нынче очень уж оплошал, так, значит, только случая опускать не следует». Конечно, сатирик не мог удовлетвориться этой своеобразной формулой. «По-моему, удивился он, ежели народ оплошал, да вы еще случаев опускать не будете, ведь этак он, чего доброго, и вовсе оплошает. Откуда вы тогда барыши свои выбирать надеетесь?

— Ах, вашескородье! йен доста-а-нет! — дал Разуваев классический ответ.

Автор вслух назвал Разуваева «финансистом», чем тот остался польщен и доволен. Но про себя он никак не мог примириться с экономической политикой кулака и мысленно сравнивал ее с дикой фантазией сказочного владельца золотой курицы. «Глупо!» решал Щедрин, отожествляя в своем сознании героя сказки с современным ему герем наживы. А между тем Разуваевы, при всей их поражающей безграмотности, творили свое разбойничье дело, так сказать, по строго-научной системе. Экономическая наука Запада, в лице К. Маркса, выяснила историческую роль хищников в деле первоначальной организации капиталистического хозяйства, и наши доморощенные хищники бессознательно брали на себя задачу практически демонстрировать систему великого ученого, показать правильность ее не только в смысле объяснения фактов прошлого, но и в смысле прогноза для будущего.

Россия не имеет колоний, и, за отсутствием их, весь бесстыдный грабеж до-капиталистического строя направлен был исключительно внутрь страны. Не было внешнего рынка, — надо было создавать рынок внутренний, и этот последний возможен был лишь при экспроприации крестьянского населения страны. Надо было обездолить население, чтобы сделать его потребителем товарного рынка. На первый взгляд такая постановка вопроса кажется странной. Щедрину она казалась даже глупой. Но среди противоречий, создаваемых капиталистическим хозяйством, это, быть может, одно из самых ничтожных. Если нищающая крестьянская масса вынуждена была сокращать свое потребление, то ведь даже свои сократившиеся, сведенные к страшному minimun'у потребности она, лишившись собственного хозяйства, могла удовлетворять все же только при помощи рынка. Умаляется **потребитель**, но зато вырастает **покупатель**, — «йен доста-а-нет», потому что, в противном случае, он должен будет окончательно сойти с лица земли, на чем, собственно, ни Разуваев, ни закон экономического развития не настаивают.

Дерунов был первым «чумазым», которого сатирик разрисовал во всей его кулацкой красе. Впоследствии к Дерунову присоединились и даже разделили с ним славу Разуваев с Колупаевым. Но они входят уже собственно в почетную свиту Дерунова, являются вариациями этого типа, так как мощная, словно из чугуна отлитая, фигура Дерунова одна могла бы служить достойным памятником породившей его эпохи.

Биографию Дерунова сатирик начинает издалека, со времен крепостного права, когда этот типичный рыцарь накопления и положил начало своей карьере. Дерунов по происхождению — мещанин. В купцы выписался до крестьянской эмансипации, обобрав проезжего, умершего у него на постоялом дворе. Крепостное право его непосредственно не тяготило. Тем не менее в те времена ему негде было развернуться. Рисковать в то время было не в обычае; жили осторожно, прижимисто, как будто боялись, что увидят, — отнимут. Только после эмансипации Дерунов перестал сколачивать по копеечке, а принялся «орудовать». Всякую чужую копейку он считал гулящей и не успокаивался до тех пор, пока не залучит ее в свой карман. Такова в основных чертах биография не только одного Дерунова, но и всех других рыцарей первоначального накопления, выведенных на страницах щедринской сатиры. Выплывшие из самых низов социальной жизни, все они от природы наделены сильными челюстями, зорким взглядом и хваткостью настоящих хищников. Происхождение их богатств непременно окружено какой-то темной легендой, в которой глаголы — одурманить, украсть, ограбить — повторяются в самых разнообразных сочетаниях. Наконец, к какому бы моменту ни было приурочено обогащение этих хищников, молодецкую удаль свою они развертывают во всю лишь после эмансипации.

Экономическая история России показывает, что художественная цельность созданных сатириком типов совпадает с их жизненной правдивостью.

Сильными челюстями своими Деруновы глубоко вонзились в тело народа, и не было спасения от их ядовитых укусов. Не было бедствия, которое они не сумели бы использовать в интересах своего жестокого дела. Голод, мор, разоренье все это шло лишь на пользу Деруновым, и они не стеснялись подчеркивать это. Таковы и все остальные фигуры хищников, вынырнувших из низов народной жизни.

Вся эта компания Деруновых, Разуваевых, Колупаевых и проч. очень характерна в том отношении, что каждый из ее членов непременно состоит в роли «столпа» или, по крайней мере, числится кандидатом на это почетное амплуа. Все они находятся в самых милых отношениях с представителями власти, — с ними вместе пьют и в карты играют, с ними роднятся, им «содействуют» при помощи добровольного выслеживания и доносов. Недаром же становой Грацианов («Убежище Монрепо»), великодушно извиняя автору все его либеральные прегрешения, не может простить ему хулы... не против духа святого, нет, — против кабатчиков. «Не раздражайте! — говорил он,— не раздражайте гг. кабатчиков, ибо в настоящее время на них покоются все наши упования».

Кабатчики — «столпы». Они призваны поддерживать и охранять «священные устои нашего дорогого отечества»— семью, собственность, государство. И они действительно поддерживали и охраняли эти устои не за страх только, а за совесть. Разуваев, например, по наблюдению сатирика, об отечестве думает, что это «падаль». На государство он прямо так и смотрит, как на «расхожий пирог». Но когда ему надо выгеснить конкурента, он и в душу ему заглянет и горячо станет доказывать, что для государства, именно, для государства, выгоднее, если чужою пустошью будет владеть он, Разуваев, ибо он, а не признанный владелец ее, откроет здесь для правительства новые источники дохода. И доказывать это положение он станет с такою настойчивостью, что заставит и местного батюшку и станового выступить адвокатами такой «государственной» точки зрения.

Конечно «столпы» первые на каждом шагу попирали принципы старого государственного уклада; ничего нового на смену старым устоям они не выдвинули. Да и нельзя же, в самом деле, голое насилие возвести в степень новой основы государственной жизни! Приходилось волей-неволей пользоваться старыми формулами, всячески пережевывая их, маскировать ими новые отношения. И посмотрите, как ловко справляются с этой задачей у Щедрина все эти зубастые хищники и их высоко и низко поставленные покровители! Как искусно пустословят они, прикрывая отвратительную наготу свою пестрою тканью вывороченных наизнанку пословиц и других изречений обветшавшей мудрости. И когда присмотришься ко всем этим фигурам, силой вещей вынужденным облекать свои затаенные помыслы в совершенно несоответствующую им шелуху праздных слов, начинаешь понимать, из каких элементов сложилась и выросла классическая фигура словоточивого «кровопивушки» — Иудушки Головлева. Человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях, невежда, сутяга, лицемер, лгун и пустослов, Порфирий Головлев сконцентрировал в себе все отрицательные черты своего беспринципного хищнического времени. Недаром же хроника семьи Головлевых была задумана и писалась как раз в то время, когда писались сатирические очерки, посвященные «чумазому». Случалось даже, что эта хроника переплеталась с портретами «чумазых» и сливалась с ними как бы в одну общую картину. Некоторые главы из хроники семьи Головлевых впервые даже и появились в печати под заглавием «Благонамеренных речей» и только впоследствии, в отдельном издании, были поставлены на соответствующее место.

Во всех пореформенных «веяниях», отраженных сатирою Щедрина, во всех «просветительных задачах» того времени, кем бы эти задачи ни разрешались, — помпадурами или ташкентцами, — везде и всюду чувствуется присутствие «человека, питающегося лебедой». На спине и боках этого

человека чертили свои скрижали все исторические деятели эпохи. Этот же человек был главным объектом и деруновских операций. Дерунов, впрочем, даже и не чертил, а просто «сосал» человека и только иногда чуть-чуть скрашивал этот каннибальский процесс ласковыми улыбками и разговорами. Высасываемого человека он называл крестником и отвлекал его внимание прибаутками вроде «по-милу, да по-божески, ты за меня, я за тебя, а бог за всех».

Однако, экспроприирующие функции Деруновых не замыкались никакими пределами. У них были крепкие челюсти и хороший аппетит, так что ограничивать свои вожделения непременно «человеком лебеды» не было ни оснований, ни надобности. Мужик так мужик, барин так барин, — не все ли равно? Охота на барина, правда, сопряжена с бо́льшими трудностями, но зато и результаты ее виднее и осязательнее. И, конечно, Деруновы барином отнюдь не брезговали, как не брезговали они и приемами выживания бар из их наследственных усадеб. Сатира «Убежище Монрепо» разрабатывает эту тему подробно и обстоятельно.

«Убежище Монрепо» — это один из шедевров художественного мастерства сатирика. В этой удивительно яркой эпопее дворянского разорения больше всего поражает искусство, с каким художник подметил и подчеркнул стихийность процесса. Неизбежность рокового конца чувствуется с первых же строк рассказа «Finis Монрепо» надвигается как-то сам собою, в силу логического развития вне чьей бы то ни было воли лежащих причин. Сам владелец усадьбы отнюдь не желает расстаться с ней. Напротив, он употребляет как будто бы все усилия, чтобы сохранить родовое гнездо и провести в нем остаток дней своих. С этим уголком связано у него столько дорогих воспоминаний, и за это он любит его. Любит, но в словаре нового времени такие сентиментальные слова не числятся. Разуваев, тот не любит,— он просто облюбовал «Монрепо» и, в интересах развития своих хищнических операций, желает приобрести усадьбу. И вот, несмотря на явное нежелание расстаться с усадьбой,

несмотря даже на сопротивление торгашеским усилиям Разуваева, владелец чувствует, что собственность ускользает из его рук. Упорству его никто никакой цены не придает, и все окружающие, начиная с местного «батюшки» и станового и кончая даже верными слугами бывших владельцев «Монрепо», — старого крепостного Лукьяныча, садовника, Матрены-скотницы, — все они видят в Разуваеве будущего владельца усадьбы. Для них это дело решенное, и вопрос только во времени, когда, наконец, барин одумается и передаст свои права «толстомясому».

Появление этой сатиры создало Щедрину поклонников в тех общественных слоях, в которых до сих пор имя его произносилось только с чувством раздражения и злобы. Даже «Новое Время» приветствовало это новое произведение, отметив, что «сатира так же художественно закончена, как художественно начата». Но для того, чтобы угодить эстетическим вкусам органов, подобных «Новому Времени», мало быть художником, для этого надобно еще попасть в полосу господствующего в данный момент течения. И, очевидно, названной сатирой Щедрин в такую именно полосу и попал, когда провозглашен был воинствующим рыцарем Прекрасной Дамы, именуемой дворянством.

Возможно, что «Убежище Монрепо», взятое вне всякой связи со всеми остальными произведениями сатирика, и создает иллюзию апологии поместного дворянства за счет буржуазии. Но в связи со всеми предшествующими и последующими произведениями Щедрина трактовать его как апологета дворянского сословия или даже говорить о «тайных симпатиях» его к сословию нет ни малейшего основания. Щедрин был чужд дворянской «романтике», и в этом отношении он, дворянин по происхождению, был родным по духу тем писателям-разночинцам, которые, подобно Чернышевскому, не могли без раздражения говорить об «этих лентяях, дармоедах, трутнях, белоручках и тунеядцах а la Онегин». А ведь одним из таких «белоручек»-романтиков и является, собственно, владелец Монрепо.

В своих сатирах Щедрин дал целый ряд положений, рисующих эпидемическую быстроту и неотвратимость, с какими торгашеский дух проникал в эстетически развитые души дворян. Сатирик заглянул даже в интимную глубину самого процесса и в образе «кузины Машеньки» сумел посвятить нас в тайну такого превращения. Впрочем, он не любил останавливаться на грубо-кулацких формах хозяйничанья мелкопоместного дворянства. Оно и понятно. На каждую кузину Машеньку в любом уголке России приходилось по десятку Колупаевых, только-что вылупившихся из хрупких скорлупок, в которых замыкалась жизнь и деятельность «хозяйственных мужичков». Машенька тонула в массе хищников, выставленных самой пореформенной деревней, и особенно выделять ее из этой массы не было никаких оснований.

Но с тем большим вниманием зато сатирик отнесся к иным, более сложным формам хищничества, которые, не требуя непосредственного общения с эксплоатируемым об'ектом, имели вид «порядочности и даже щеголеватости». В противовес простому кулачеству, в котором всегда можно указать на лиц действующих и претерпевших, в сложном хищничестве, по характеристике Щедрина (в «Пестрых письмах»), «действующих лиц совсем нет, и приходится удивляться, каким образом человек, которого незадолго перед тем знали без штанов, в настоящую минуту ворочает миллионами». Здесь воровство имеет вид полезного занятия, хищники называют себя дельцами, а хищничество представляет собой «порядок вещей—ничего больше».

Дворяне—отцы, снабженные выкупными свидетельствами, облюбовали этот вид хищничества немедленно же вслед за крестьянской реформой. «Какие-то оливковые личности, не то греки, не то евреи, не то армяне, словом, какие-то иконописные люди», успевшие, впрочем, отгуляться у Бореля и Дюссо, были первыми учителями благородного сословия. Наука, повидиму, оказалась не из трудных. И уже в «Благо-

намеренных речах» недавние ученики выступают в роли соблазнителей, даже руководителей господ кабатчиков.

Дерунов, к которому, в качестве демона-искусителя, явился из Питера некий генерал, некоторое время упирался. Генерал получил какую-то железнодорожную концессию и звал Дерунова в учредители, обещая ему баснословные выгоды. Но Дерунов подумал о Сибири и усомнился. Он и сам понимает, что «забыть бы об ней надо»—о Сибири-то, —«еще бы вольнее орудовать можно было!» Но пока еще слишком широкие перспективы смущают его. Повидимому, только после долгого раздумья Дерунов пошел на соблазнительное предложение генерала. И уж раз взявшись за пугавшее его вначале дело, он вошел в него целиком, с головой окунувшись в омут «сложного хищничества». Он весь преобразился. В отлично сшитом сюртуке, в рубашке, сверкавшей ослепительной белизной и бриллиантовыми запонками, в собольей шубе и с новеньким цилиндром на голове, Дерунов и вел и чувствовал себя совсем не так, как в только-что минувшие дни своего кулачества. С исчезновением старозаветной обстановки исчезла и прежняя загадочность: выжимание гроша втихомолку сменилось вожделением грабежа, и хотя старинный юмор по временам еще сказывается, но имеет характер случайный, искусственный. Очевидно, что Дерунов уже оставил всякую оглядку, что он не будет вперед ни колоколов лить, ни пудовых свечей к образам ставить, что он совсем бросил мысль о гривенниках и пятаках и задумал грабить нагло и в более приличной форме. Все мелкие виды грабежа, производимые над живым материалом и потому сопровождаемые протестом в форме оханья и криков, он предоставил сыну Николаю, сам же занимается исключительно грабежом «отвлеченным», не сопряженным с криками и стонами, но дающим в несколько часов рубль на рубль. Представление о Сибири он утратил или, вернее, он и теперь еще помнит о ней, но знает наверное, что Сибирь существует не для него, а для «других прочих».

Как ни отрицательно относился Щедрин к Дерунову-

кабатчику, но Дерунов-денди, Дерунов, окруженный бывшими полководцами и блестящей свитой великосветской, военной и штатской молодежи—«калегвардами»,—прямо пугает его своей развернувшейся наглостью. Ведь Дерунов-денди, ворочающий миллионами и располагающий огромным влиянием и связями, не перестает оставаться все тем же «чумазым». Раньше, когда он своими пальцами колупал на базаре сало, когда он с утра и до вечера предавался бесконечной хозяйственно-приобретательской суетоке, это трудовое мыкание могло оправдывать его в его собственном мнении. Теперь он оголен; он ходит праздно и, конечно, сам сознает, что в его новой жизни нет и тени «труда», а есть только «ничем неприкрытое ерничество». «Русский чумазый»,—говорит сатирик в «Мелочах жизни»,—перенял от западного своего собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни его трудолюбия».

Еще в 60-е годы (в «Признаках времени») Щедрин утверждал, что хищничество проникло весь строй русской жизни. Но если тогда эта фраза звучала скорее предвидением, чем констатированием факта, то в 70-е годы она уже не может возбуждать никаких сомнений. Одерживая победу за победой, чумазый прочно утвердился в своих позициях и, поддерживаемый дворянством, которое устроило и свою жизнь на хищнических началах, распоясался, что называется, во всю. Он пришел, по выражению сатирика, в восторженное состояние и возвысился до ненависти. Ему теперь мало отнять у «разини»,—ему нужно сократить разиню. Стоявшую перед ним задачу он понимал ясно: «необходимо было дать пошехонскому поту такое применение, благодаря которому он лился бы столь же изобильно, как при крепостном праве, и в то же время назывался «вольным пошехонским потом». Но не имея за собой ничего, что могло бы хоть сколько-нибудь оправдать его претензии, —ни усовершенствований, ни знаний, ни новых приемов, —он заботился только об одном,—«чтобы абориген как можно аккуратнее уперся лбом в стену». Обстоятельства скла-

дывались для Деруновых и Колупаевых как нельзя более благоприятно. И вот уселись они, ничего не разумеючи, за стойкой в кабаке да по-дурацки покрикивают: «Довольно мечтаний! довольно фраз! за дело!» И Щедрин, озираясь кругом, тщетно высматривает в пестрой массе русского общества те «элементы будущего», на которые можно было бы опереться в борьбе против хищнической вакханалии.

Вопрос принимает формы поисков «молодого поколения», в качестве действующей и двигающей общественной силы. И надо ли говорить, что поиски дают совершенно отрицательные результаты? В высшей степени характерно, что в «Недоконченных беседах», где тщательный анализ современного ему русского культурного общества приводит Щедрина к безнадежному для ближайшего, по крайней мере, будущего прогнозу, сатирик даже не решается говорить от своего собственного имени. Здесь впервые в щедринской сатире, как выражение ее трагизма, выступает зловещая фигура Глумова, который отныне уже будет частым гостем сатирика, возвращающим его из заоблачных высей сладкой мечтательности к чувству действительности. Глумов —это одновременно и altera pars (по форме) и alter ego (по существу) сатирика. В нем много общего с сатириком—оба они впитали в себя дух и настроение 40-х годов, оба рассматривают „мелочи жизни" преходящей действительности с точки одних и тех же принципов. Но в то время, как сатирик не прочь иногда от безотрадных фактов современности уйти на «путь упований», Глумов решительно пошел по «пути озлобления», пошел без колебаний, без уступок, которые даже не умещаются в его стальном мыслительном аппарате. Так вот этот-то «мрачный» Глумов, перебрал различные категории «молодого поколения», приходит к выводу, что все они, в смысле движущей силы ближайшего будущего, не дают сколько-нибудь положительных показаний. Адвокаты? Но они жалкие ремесленники, к которым молодое поколение, взятое в смысле двигающей интеллигенции, должно относиться совершенно безразлично.

Бюрократы? Но если адвокаты подчинены предначертаниям своих клиентов, то эти выполняют предначертания начальства. Какую же двигающую мысль они могут представлять собой? Земцы—сила комариная. Их во всякое время смахнуть можно. Да и какое это „молодое поколение", когда на самом деле, там почти сплошь „сивое меринье" сидит!

Педагоги? Профессора? Но разве в этой области не существует специальный отбор? Разве все усиленные заботы о нашей средней и высшей школе не клонились к тому, чтобы из „светочей и вестников жизни" превратить их в комментаторов официально признанных формул? И для того, чтобы выяснить точку зрения сатирика на эту группу культурных деятелей, достаточно вспомнить зарисованную им фигуру профессора уголовного права, который свое ученое мнение о „кнуте" строго сообразовывал с действующими нормами уголовного уложения.

Но, может быть, сила, продолжающая дело движения, скрывается в школах? И на этот вопрос Глумов не даст сколько-нибудь обнадеживающего ответа. Он имеет привычку говорить только о том, что достоверно знает. И разве можно что-нибудь знать об учащихся? Учащееся поколение находится вне арены исторической жизни. В массе это—материал, на котором так или иначе может отразиться дух современности, но не агент этого духа. И тот, кто хочет рисовать общество, а не карикатуру на него, должен брать предметом своих исследований взрослых, а не детей.

Литература? Мы знаем, с какой беззаветной любовью и с каким высоким уважением относился Салтыков к литературе. Даже в предсмертном письме к сыну он писал: „паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другу". Но именно поэтому он в течение всей своей жизни не отводил от литературы внимательного взора. Отрицательные явления в литературе были близко ему знакомы и отмечались им в их последовательном появлении и развитии. И сатирик ясно видел, как она всасывала в себя дурные соки общества и в каждый данный мо-

мент оказывалась в массе не выше этого последнего по своим моральным качествам. И как ни страстно привязан был он к литературе, случались моменты, когда, по собственному его признанию, привязанность эта подвергалась очень решительным испытаниям. Тем не менее в тех же очерках Щедрин дает поистине блестящие страницы, посвященные защите литературы, ее „животворящих свойств", ее значения, как „неоскудевающего источника жизни".

„Литература не умрет, не умрет во веки веков. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз,—одна литература изъята от законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Не найдется такого момента в истории человечества, про который можно было бы с уверенностью сказать: вот момент, когда литература была упразднена. Не было таких моментов, нет и не будет. Ибо ничто так не соприкасается с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе». Литература для Салтыкова—«освещенное средство для небесных целей», широкая арена для борьбы за торжество света и правды, за идеалы будущего. Променяв вице-губернаторское место на звание литератора, Салтыков переменил не только профессию, нет, он опоясал себя мечом для того, чтобы, подобно Гейне, посвятить свои силы рыцарскому служению святому духу. Он стал борцом. Но в отличие от всех иных видов борьбы, где каждая ошибка может роковым образом отразиться на успехе всего дела, «литература,—говорит Салтыков в той же сатире «Круглый год»,—имеет право допускать заблуждения, потому что она же сама и поправляет их».

Поэтому, «признавая» литературу, сатирик принимал ее «всецело, со всеми уклонениями и осложнениями, даже с московскими кликушами». Правда, все эти уклонения и осложнения, с «каплунами мысли», с пенкоснимателями, Под-

халимовыми и Ноздревыми, «порой бывают мучительны, но ведь они пройдут, исчезнут, растают, и наверное одни только усилия честной мысли останутся незыблемыми».

Неутомимый летописец четырех десятилетий, Щедрин пережил и художественно воссоздал в своей сатире весь тот сложный и многообразный процесс, которым дореформенная Русь, приспособляя и приспособляясь, настраивала свои крепостнически-сословные формы на европейски буржуазный лад. Мы пережили с ним «веяние радостных ожиданий», вскоре сменившееся «веянием горестных утрат». Вместе с ним мы попали в ураган страшного, по силе развернувшихся и ничем несдерживаемых аппетитов, «веяния хищничества». И вот теперь, в начале 80-х годов, сатирик с недоумением подошел к какой-то загадочной храмине, на воротах которой написано: г а л и м а т ь я, и оттуда пахнуло на него новым веянием, которому Щедрин не нашел никакого иного названия, как только «веяние сапогов в смятку».

Жутко жить в такой «храмине». Жутко почувствовал себя в ней и наш сатирик, хотя, по складу своего острого аналитического ума, он вошел в нее подготовленным в неизмеримо большей степени, чем все остальные его современники и в частности чем вся та школа критического народничества, под флагом которой протекала его литературная деятельность в «Отечественных записках».

Мужицкий «мир» был фундаментом, на котором народничество воздвигло здание своих упований и верований. Из предмета сердобольного покровительства, каким он был раньше, в 70-е годы, мужик стал носителем высшей правды. Но если не считаться с кратковременным (в период «Губернских очерков» и «Невинных рассказов») увлечением Щедрина славянофильской мистикой, а, быть может, только риторикой, когда он вдруг «приобщился к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни», то ни раньше, ни позже он вовсе не склонен был идеализировать народную жизнь в «степени», ни даже в «типе» ее развития. Им дискредитирован был столп народнической идеологии—«хозяйственный

мужик». Дискредитирована и та драгоценная оправа—сельская община,—в рамках которой показывала обыкновенно народническая литература героя своих мечтаний о самобытном русском общественном строе.

«Есть община и община»,—пишет он, и община, на которой славянофилы и народники созидали благополучие и силу России, «не обеспечивает ни от пролетариата, ни от обид, приходящих извне».

Что касается вопроса о буржуазии, то, конечно, не Щедрину было долго тешить себя народническими иллюзиями о возможности «осилить» ее и перейти в социалистический строй, перепрыгнув через буржуазное государство. В 80-х годах он доводит до всеобщего сведения: «Чумазый идет, идет!... и даже пришел». Сатирик как будто недоумевает перед блестящим успехом чумазого, недоумевает тем более, что русский чумазый нимало не усвоил себе ни подготовки, ни трудолюбия своего европейского собрата. Но, конечно, «и эти маленькие недочеты со временем будут устранены. Со временем все «образуется», потому что перед чумазым широкая дорога, и так как зоркий глаз сатирика хватает далеко вперед, то ему уже и теперь «сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастья».

Вдумайтесь в эту последнюю фразу и вы увидите, что, сказанная в 1886 г., она почти предвосхищает те знаменитые ракеты, которые 10 лет спустя были брошены марксистами в народнический лагерь, вызвав там большое смущение и переполох. Я говорю о призыве «итти на выучку к капитализму» и о признании неизбежности для мужика «вывариться в фабричном котле». Разница здесь не в содержании, а в тоне. Мажорный и даже задорный у марксистов, в поле зрения которых, после «мелочей жизни», появилось много новых данных, раскрывающих широкие перспективы, голос Щедрина не мог звучать такими нотами, потому что перед ним была густая пелена тумана, за которым даже его зоркий глаз не мог разглядеть дороги.

Что касается пролетариата, этой другой «язвы» капитализма, с которой народничество полагало бороться не менее решительно и не менее успешно, чем с буржуазией, то и по этому поводу Щедрин высказывается с тою же ему присущею самостоятельностью мысли.

«И еще говорят,—пишет сатирик,—в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли». Но говорящие таким образом забывают о мещанах и бывших дворовых. «А кроме того, забывают еще то, что около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства, и ежели не зовет еще «обеспеченных» «кнехтами», то уже довольно откровенно отзывается о мужике, что в «ем только тогда и прок, коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

И ведь от всех этих сопутствовавших капитализму явлений должна была избавить Россию интеллигенция. Щедрин сам высоко ценил значение интеллигенции. В 80-х годах, когда в известных слоях общества стали циркулировать писанные и неписанные проекты упразднения интеллигенции, начиная с самосуда живорезов Охотного ряда и кончая потоплением в Москве-реке, Щедрин писал в «Мелочах жизни»: «Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы чумазые с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки». В своей борьбе, а так, именно, и можно назвать его литературную деятельность, он шел нога в ногу с лучшими представителями интеллигенции, в том числе и с титанами революционного идеализма 70-х годов. Он высоко ценил интеллигенцию и ее выражение в литературе, но сил ее не преувеличивал и, наблюдая победоносное шествие чумазого, он ясно видел, что «интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ни откуда не защищена и гибнет беспомощно, как былье в поле»...

Далекий не только от догматического, но даже и от кри-

тического народничества, Щедрин шел к 80-м годам своей собственной дорогой. Поэтому и то глубокое разочарование, которое охватило народничество к началу 80-х годов, после крушения всех его упований, не коснулось Щедрина.

Людям, упавшим духом, растратившим свои упования, сатирик даже в дни всеобщего уныния не переставал петь о радостях света и жизни. Он напоминал, что и в истории «Пошехонья» бывали просветы. И как ни коротки они были, как ни слабы были солнечные лучи, падавшие на пошехонскую землю, пошехонцы расцветали и ободрялись под их живительным светом. Значит, заключает сатирик, для всех вообще людей свет представляет нечто желанное.

Бывают, личности, писал он, для которых вся история служит свидетельством «неуклонного нарастания добра в мире». И как ни труден этот процесс нарастания добра, в нем можно найти утешение. Но искать утешения в истории способны только «исключительные натуры», герои, а между тем, в 80-е годы героем, выступившим на арену жизни, стал с р е д н и й ч е л о в е к,—«человек относительной правды, относительного добра, относительного счастья». Он ждет охранного листа на среднее существование в н а с т о я щ е м, и, когда «история сдирает с него кожу», он получает полное основание усомниться в благостности исторического процесса. Ведь он, продолжает Щедрин, «этот средний человек, именно, и есть действительный объект истории. Для него пишет история свои сказания о старой неправде, для него происходит процесс нарастания правды новой. Ради него создаются религии, философские системы, утопии; ради него самоотвергаются те исключительные натуры, которые носят в себе зиждительное начало истории».

Положение, которое теперь в сознании Щедрина занял «средний человек», должно быть особенно подчеркнуто, потому что оно определяет литературную физиономию писателя в 80-е годы, окрашивая его производительность в особый цвет, характерный, именно, для этого десятилетия. И если бы надо было в краткой формуле определить, в чем заклю-

чается основное содержание литературной деятельности Щедрина за это именно время, то я характеризовал бы его сатиру 80-х годов названием «недели (десятилетия) о среднем человеке».

Из критиков, писавших когда-либо о Щедрине, тонко отметил роль «среднего человека» в произведениях сатирика только П. Кропоткин, несмотря на то, что он вообще к сатире Салтыкова относится почти отрицательно. «Может быть,—говорит Кропоткин,—еще более удались Щедрину изображения того «среднего человека», который не обладает сильными страстями, но вместе с тем, дабы спокойно наслаждаться филистерским благополучием, не остановится ни перед каким преступным деянием, направленным против лучших людей своего времени, а если понадобится, то с удовольствием также протянет руку худшим врагам прогресса. Производя сатирическую экзекуцию над этим «средним человеком», который вследствие своей несдержимой трусости так роскошно расцвел в России, Салтыков создал свои лучшие творения. Но когда ему приходилось касаться тех, которые являются действительными гениями реакции,—тех, которые держат «среднего человека» в постоянном страхе и, если нужно, вдохновляют реакцию смелостью и жестокостью,—сатира Салтыкова или отступала перед этой задачей, или же ее нападения были скрыты за такой массой комических эпизодов и эзоповских выражений, что яд сатиры совершенно испарялся».

Верно оценив положение, которое средний человек занимает в произведениях Щедрина, Кропоткин допускает в своей оценке одну существенную ошибку. Он говорит именно о произведениях, написанных сатириком в 80-х годах, но, не оговаривая этого, распространяет свою оценку на все литературное творчество Щедрина, тогда как только в 80-е годы «средний человек» стал объектом исключительного внимания сатирика; только в 80-е годы Салтыков действительно почти не касался тех, кого Кропоткин называет «гениями реакции» и которых на самом деле сатиры Щедрина далеко

не шадили раньше. И в том, что именно в 80-е годы Щедрин переместил центр своего внимания; в том, что он, покинув «гениев», перешел к «средним людям», он был глубоко прав, так как для этого у него были серьезные основания.

Строго говоря, 80-е годы не внесли ни в политическую ни в социальную жизнь России ничего нового.

В области политической реакция успела до дна исчерпать самое себя. Творческая фантазия корнетов Толстолобовых и титулярных советников Филоверитовых, извергавшая в 70-х годах на потребу правящих классов десятки и сотни упразднительных проектов, теперь иссякла. Приходилось повторять зады и лишь кое в чем, в деталях, подновлять и приспособлять к новым условиям старые толстолобовские мероприятия.

Что касается экономической жизни России, то и она шла неотступно по линии, намеченной в два предшествовавшие десятилетия. Дворяне, возмечтавшие было после крестьянской эмансипации, о своих «якобы правых», давно уже успокоились и продолжали, при помощи всевластной бюрократии, рвать в свою пользу солидные куски общественного пирога. Торгово-промышленная буржуазия также чувствовала себя вполне уютно под прикрытием самодержавного правительства и поэтому продолжала, подобно Деруновым, Разуваевым и К°, служить верною опорою «престол-отечеству».

Массы изнывали под бременем обступивших их невзгод и молчали,—молчали в деревне, втихомолку мечтая о «милости», которая объявит же наконец давно ожидаемый «черный передел» помещичьих и казенных земель,—молчали в городе, пока еще только оглядываясь и присматриваясь к незнакомой обстановке буржуазно-капиталистической эксплоатации.

Взбаламученная крестьянской эмансипацией, русская действительность подверглась в 80-е годы отстою, в котором происходили богатые внутренние процессы,—в нем выкристаллизовались социальные классы, борьба которых в наши дни создала захватывающие по своему интересу моменты.

Происходил, как выражается Щедрин, «трудный и медлительный процесс нарастания правды», процесс, «в котором нет свидетелей, а все сплошь действующие лица».

Раньше, в 60-е и 70-е годы, когда в авангарде реакции шли силы, с которыми так или иначе приходилось считаться, бороться, с ними, все они своевременно попадали на страницы щедринской сатиры. Там была рыба крупных пород. Растревоженная мощным движением воды, она поднялась со дна жизни и жадно бросилась на поиски новых мест, новых путей. Там были такие осетры, как все эти разных типов помпадуры, ташкенцы с породистыми дворянскими кадыками, Деруновы, Разуваевы и Колупаевы, с их ожесточенной погоней за рублем, с их грубым цинизмом, с их непомерными аппетитами, с общим для всех них девизом: «жрать».

Эти типы не перевелись, конечно, и в 80-е годы, но теперь они утратили тот общественный интерес, какой имели раньше. То, к чему они так жадно, так настойчиво жадно устремились, теперь достигнуто. Rückwärtsconcentrirung— вот искомый результат их усилий. Теперь им не к чему устремляться; никакие рискованные предприятия не лежат на их проторенном пути. Даже опасность подавиться при торопливой жратве теперь миновала. Зачем «жрать», когда можно спокойно, без риска, сидеть на завоеванном месте и более или менее меланхолично «сосать дурака»?—Не осетры, а пискарь, которым, кстати сказать, сатирик и открыл полное издание своих «Сказок», становится объектом его внимания и изучения.

Но кто же, однако, этот *средний человек*, ставший героем 80-х годов и этим самым высоким положением приковывавший внимание сатирика? Кто он, так часто меняющий в сатире свой внешний облик, но остающийся неизменным по существу, независимо от того, показывает ли его нам Щедрин одиноким или в массе, в виде народа, толпы улицы?

«Пестрое время, пестрые люди,—писал Щедрин,—оттого и жить трудно стало; не на кого положиться, не во что

верить; везде шатанье, пустодушие, пестрота. Чего не ждешь, то именно и случится; от кого не чаешь, тот именно и стукнет тебя по темени. Дурное, спутанное время»...

Недостаточно обеспеченные, постоянно, вследствие этого, чувствующие свою зависимость от других, пестрые люди это, по выражению Щедрина, «люди замученные жизнью. Жизнь к ним пришла в виде западни, из которой они не имеют ни сил, ни уменья выбраться»... Все эти условия делают их чрезвычайно податливыми к тем стадным выражениям испуга, которые характеризуют панику. А именно паникой называет старик общественное настроение 80-х годов.

В «Пестрых письмах» сатирик говорит, что он не знает законов, порождающих панику и управляющих ею. А между тем только-что перед этим (в 1883 г.) он закончил огромных размеров картину, приковывающую к себе богатством красок и резкой выпуклостью рисунка, где доступными только крупным художникам загадочными путями он проник в тайну, которая так и осталась закрытой для его теоретической мысли. Я имею в виду «Современную идиллию».

Это удивительная картина удивительных нравов, где спокойное существование может быть обеспечено дипломом благонамеренности; где в поисках этого диплома подозреваемые становятся к подозревающим в самые гнусные отношения; где неуверенность так быстро переходит в испуг, испуг—в панику. В «Современной идиллии» чаще и ярче, чем в других сатирах, вскрывается излюбленный прием Щедрина—причудливые сочетания фантастики с реализмом. И здесь, разбирая этот странный переплет, читатель с особенной отчетливостью уяснит себе, какое огромное значение получает такой прием для сатирического освещения жизни в распоряжении настоящего художника.

Уже в 1879 г. («Круглый год») сатирик утверждает, что страх играет слишком огромную роль в существовании современного человека. Первые строки сатирических очерков «За рубежом» посвящены «культу самосохранения», как самому верному средству сделать постылым человеческое

существование. И заканчивая эти очерки в 1881 г., сатирик констатирует, что боязнь за «шкуру», за завтрашний день сделалась основным тезисом, из которого отправляется русский человек. «Шкурный инстинкт» грозит погубить, если уже не погубил, «все прочие инстинкты»... И почти во всех своих последующих сатирах Щедрин останавливается на этом «постыдном страхе», который, «как несточный зудень», впился в тело русского обывателя и точит и жжет его. Об этом страхе мы услышим и в печальной истории «премудрого пискаря». Эта же тема разрабатывается и в нескольких других сказках, каковы «Самоотверженный заяц», «Здравомыслящий заяц» и «Либерал», с нею встречаемся мы и в «Мелочах жизни» и в «Письмах к тетеньке».

Со всею резкостью нападая на среднего человека, Щедрин, однако, считает себя отнюдь не обличителем, а адвокатом его. И претендовать на это звание сатирик имеет полное основание, потому что он прав, когда утверждает, что резкость его имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений в которой и заключается источник всех зол, угнетающих Россию. «Было бы болото, а черти будут», говорит он, и так как «воистину болото родит чертей, а не черти создают болото», то и к среднему человеку Щедрин подходит, как к «жертве общественного темперамента», которая нужна ему совсем «не для потасовки», а только в качестве иллюстраций этого последнего.

Перед ним и вокруг него копошилась хаотическая «пестрая» масса, «улица», шумным галдением своим заглушавшая налаженные было хоры 60-х и 70-х годов. Он угадывал законы ее развития, он чувствовал ее потенциальную энергию, но определить линию ее поступательного движения в тот момент он был не в силах. Не то, чтобы он не различал в этом галдении улицы отдельных старающихся перекричать друг друга голосов. Напротив, незадолго до смерти, исправляя начатую им раньше сказку «Ворон-челобитчик», он вписал карандашом следующие слова, которые произносит коршун в ответ на жалобы ворона:

«Посмотри кругом,—везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на свою личную правду... Но пройдет время... Объявится настоящая, единая и для всех обязательная правда; придет и весь мир осияет».

Вы видите здесь опять величие теории, открывающей прекрасные, но очень отдаленные перспективы и, в виде контраста к ним, полный разброд в хаосе данного момента. Здесь нет не только единой и для всех обязательной правды, но нет даже нескольких, нет даже многих правд, под знаменами которых объединились бы те или иные общественные группы. У каждого была своя личная правда, потому что в хаосе общественных отношений того времени можно было различать отдельные фигуры, как различаются пшеничные зерна в мешке, но социальные группировки-классы—едва-едва намечались. И, во всяком случае, ни один из классов, находившихся тогда в процессе сложения, не мог еще выдвинуть своей классовой правды и тем более, конечно, не мог обнажить ее в сознательной, активной общественной оппозиции.

А между тем деятельная натура Щедрина не мирилась с этой обстановкой, в которой ему становилось, как он жалуется в «Пестрых письмах», тяжело и скучно именно потому, что «понять ничего нельзя». Его удручала эта атмосфера, словно арестантским чем-то насыщенная, эти сплошные сумерки, в которых нет света, не слыхать голосов, в которых витают какие-то вялые существа. Он, который с самого начала своей литературной карьеры с такой чуткостью отзывался на злобы текущего дня, он с возмущением жалуется «тетеньке», что теперь стало «всем как-то все равно. В самых интимных кружках разговоры ведутся какие-то прошлогодние». И прежде чем найти в себе достаточно спокойствия, чтобы приступить к своей последней работе, к художественному воспроизведению крепостного быта в «Пошехонской старине», Щедрин много раз пытался войти в непосредственное общение со средним человеком,

чтобы подвинуть его к активности в сфере политических и общественных отношений.

В этом смысле особенно характерны «Письма к тетеньке». Это листки из любовной переписки сатирика с обществом. Последнее, т.-е. тетенька, к которой адресованы письма, существо до крайности неустойчивое и легкомысленное. И между тем он внушал ей: «В делах современности от вас зависит многое, почти все. И даже не от деятельного участия вашего в жизненном круговороте, а просто от характера ваших отношений к жизненным явлениям. Повидимому, вы даже не подозреваете, что вы—сила, а между тем, нет истины бесспорнее этой. Сознайте же свою силу, но не для того, чтобы безразлично посылать поцелуи правде и неправде, а для того, чтобы дать нравственную поддержку добросовестному и честному убеждению. Право, без этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное».

Щедрин, очевидно, и сам понимал, что нота, которой он кончил свою беседу с тетенькой, взята чересчур высоко и едва ли соответственно тетенькиной восприимчивости. И когда через год сатирик начал новую серию очерков («Пошехонские рассказы»), он так мало способен был сдерживать чувство негодования, вызванное в нем новыми похождениями любезной тетушки, выступающей здесь уже под псевдонимом «пошехонцев», что подчеркнул свое настроение даже в эпиграфе: «по Сеньке шапка». Сатирик преподнес «Сеньке» несколько рассказов, сюжетом которых был какой-то странного вида винегрет из амурных похождений гг. офицеров, русалок и леших. Читая эти рассказы даже теперь, когда со времени их появления прошло четверть века, чувствуешь, что сатирик был не на шутку разгневан читателем (он же тетенька-пошехонец—средний человек-Сенька) и не скрывал своего намерения нанести ему умышленное оскорбление, до такой степени сюжет их выскакивает из рамок всех остальных произведений сатирика.

«Трудно иметь дело с пошехонцами»,—замечает сатирик, —они «лицемерят и отступничают без зазрения совести...

Нельзя надеяться на их поддержку, нельзя рассчитывать, что обращенная к ним речь будет сегодня встречена с тем чувством, как и вчера. Вчера существовало высшее слово, к которому целые массы жадно прислушивались; сегодня это же самое слово служит не призывным лозунгом, а сигналом к общему бегству»...

И чем дальше уходил сатирик в глубь десятилетия, тем плотнее сгущались над ним сумерки, в тумане которых движение пошехонских масс казалось не то топаньем на месте, не то каким-то капризным вращеньем, законы которого не поддавались исследованию. В сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым» Щедрин с горечью говорит о Пошехонье, как о стране, которая исстари славилась непостоянством и неустойчивостью. Даже природа ее «какая-то не заслуживающая доверия».

В творчестве Салтыкова была одна типичная особенность: каждую новую тему, выдвигавшуюся на очередь русской жизнью, он предварительно, так сказать, нащупывал при помощи публицистических приемов. И только после этой аналитической работы, после того, как тема выяснялась для него во всей сложности составляющих ее элементов, анализ уступал место синтезу, на смену публициста выходил художник, в живых образах закреплявший исследованное и продуманное публицистом явление. В отношениях писателя к среднему человеку повторилось то же самое. Лучшие рассказы и сказки, посвященные среднему человеку, написаны Щедриным в 80-х годах и даже главным образом во второй их половине, когда в публицистических статьях сатирик занял уже вполне определенную позицию. Это—правило. И как всякое правило предполагает исключение, так и в данном случае серию очерков, посвященных сатириком среднему человеку, приходится начать немножко раньше 80-х годов.

В конце 1878 года Щедрин напечатал в «Отеч. Зап.» очерк «Похороны». При всех достоинствах этого рассказа нет никаких видимых оснований выделять его из остальных произведений сатирика. Сам автор, однако, относился к это-

му своему детищу иначе и однажды в беседе с Н. К. Михайловским сказал, что «Похороны», по его мнению, «лучше всего» из написанного им. Беседа, о которой вспоминает Михайловский, может быть приурочена только к 80-м годам, когда «герой» и жертва этого десятилетия—средний человек—занял в мышлении писателя достаточно выяснившуюся роль. Пересмотрев теперь написанное им несколькими годами раньше, автор, обыкновенно очень строгий к себе, находит, что это—«право, хорошо». Это значит, что старый рассказ встретил новые отклики в нынешних настроениях автора, что рассказ отвечает нынешнему строю его мыслей. И в самом деле, даже странным кажется, что «Похороны» появились в 1878 году, тогда как в этом очерке все, начиная с эпиграфа «Скучно жить на свете, господа!», проникнуто позднейшими настроениями сатирика. Сюжет рассказа—печальные судьбы русской литературы и русского литератора. Никогда раньше сатирик не мог касаться этого, быть может, самого больного для него вопроса без того, чтобы каждый раз его не охватывало при этом чувство страстного волнения. Он выступал в таких случаях или пламенным апологетом литературы, или негодующим обличителем ее недугов и уродливостей. Теперь он преисполнен той тихой, хотя и улыбающейся грусти и тем своеобразным лиризмом, какие, по справедливому замечанию Михайловского, в последний период деятельности Щедрина все чаще и чаще пробивались в его произведениях. Как мы видели, Щедрин не раз выражал претензию быть адвокатом среднего человека, а не обвинителем его. И в этом рассказе он впервые на высоте той роли, какую он сам позднее назначил себе. Пимен Коршунов, на похороны которого ведет нас Щедрин,—средний человек, средний работник. Втянутый в литературу, когда этой последней стала овладевать улица, Коршун быстро подчинился новым условиям и присмирел. Да и нельзя было ему упираться и растабаривать об убеждениях. Он знал, что «место свято пусто не будет», и потому одинаково усердно строчил по заказу, работал ли он

в либеральной газете «Чего изволите» или в еще более либеральной «И шило бреет».

В другое время и в другом месте Пимен Коршунов получил бы, да и получал, не раз хорошую нашлепку от сатирика. Но теперь на могиле одного из многих Пименов русской литературы, сердце сатирика раскрылось для других настроений. Рассказ от начала до конца выдержан в тоне искренней и задушевной теплоты. Пимен—не молот, а наковальня, он—жертва улицы. И если б кто-нибудь догадался поставить памятник на могиле этого незаметного газетного работника, то сатирик предложил бы написать на нем: «Литература осветила ему жизнь, но она же напоила ядом его сердце».

Эволюция в настроении художника станет еще более понятной, если мы сравним его отношение к драматическим коллизиям в семьях Молчалина и Разумова. И Молчалин и Разумов занимались делом, к которому их дети относились с одинаковым отрицанием. К семье Молчалина, где коллизия только начиналась, Салтыков подошел в средине 70 годов. И ему показалось, что в этой коллизии он нащупал «зерно заправской русской драмы», чреватой своими последствиями. А в 1879 году, когда написано было «Больное место», семейная драма Разумовых уже завершилась самоубийством Степы, которого оскорбляло все прошлое отца. Ожидавшихся последствий, однако, не вышло. «Просияние» хотя и осенило старика Разумова, но оказалось бесполезным. Своей вины он все равно не признал и всю свою «сатанинскую» работу свалил на «атмосферу». Случилось то же, что и в написанной позднее сказке «Бедный волк». За грабежи и убийства, которыми волк только и жил, он, тоже испытавший «просияние», не хвалил себя. Но и осуждать себя он не мог, ибо знал, что таков «порядок жизни», которого изменить он не может.

Мы не успели еще войти в роковое десятилетие, мы подошли только к воротам его, как уже почувствовали тяжелое дыхание того безликого чудовища, которое, коле-

блясь в названиях — атмосфера = «порядок жизни» = среда = действительность,—но оставаясь неизменным в своей единой стихийной сущности, держало в цепких лапах все поколение 80-х годов. Захваченные в эти объятия, люди утратили способность к активности, потеряли волю, а с ней вместе и критерий для отличия доброго от злого, правого и виноватого. «Порядок жизни» отвечал за все, потому что по его прихоти двигались люди, надолго теперь превращенные в марионеток кукольного театра.

Кукольным театром сатирик и ознаменовал свое вступление в 80-ые годы, поместив в январской книжке «Отеч. Зап.» 1880 г. известную сказку: «Игрушечного дела людишки». Насыщенная «игрушечным делом» мастерская Изуверова представляется автору «каким-то совсем оголтелым царством, где все в какой-то отупелой безнадежности застыло и онемело». Он пробыл в этой обстановке не больше двух часов, и ему захотелось поскорее уйти из нее. «Но,—думал он,—может быть, жизнь уж и созидает таких людишек? Может быть, Изуверов является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что давно уже изобретено жизнью?» И если раньше, в 70-ые годы, сатирику казалось, что в подмеченном тогда им конфликте отцов и детей в семье Молчалиных найдена тайна русской жизни, — «заправская», захватывающая дух драма ее,—то теперь всю силу своего творческого интереса он переносит в «тайну куклы», в тайну, которая «из всех тайн» предстовляется ему при изменившейся ситуации «самой существенной, самой захватывающей». Такою именно и оказалась в этот период русской действительности тайна среднего человека, тайна куклы. Теперь она целиком захватила сатирика, который на ней одной сосредоточил свои творческие художественные замыслы. Все персонажи сатир, рассказов и сказок, написанных в 80-е годы, — тоже куклы, в «тайну» которых сатирик проникает с неутомимой настойчивостью.

Изуверов употреблял все усилия к тому, чтобы сработанные им куклы как можно точнее напоминали живых лю-

дей. Но при всех его стараниях, он никак не мог добиться от них поступков. «Ума в них нет, поступков нет, желаний нет, а на место всего—одна видимость». Это его сильно огорчало. Даже сердца стал вкладывать Изуверов своим куклам, но и это делу не помогло, и «живет кукла, как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живет да душу изнимает—и шабаш!» Живые куклы сатирика в этом отношении очень близки к своему прототипу, вышедшему из мастерской Изуверова. Они тоже не обнаруживают ни склонности, ни способности к «поступкам». У них нет желаний, нет дерзания, потому что дерзание, как и поступки, предполагает наличность некоторой цели, идеала, отсутствием которых и отмечен был средний человек 80-х годов. Припомните из «Мелочей жизни» фигуры всех этих хозяйственных мужичков, сельских батюшек, Черезовых, Ангелочка, полковницкой дочери и др., припомните из «Сказок» всех этих пискарей, чижиков, зайцев, коняг, «либералов», и вы увидите, что их прежде всего объединяет одна черта,—та, которой сатирик характеризует в «Мелочах жизни» помещика и которой волк в сказке характерезует овец,—все они какие-то равнодушные». И даже те из них, которых больше других придавил и унизил «порядок жизни»,проявляют эту черту равнодушия тем резче, тем выпуклее.

«Равнодушные»—ведь это ярлык, под которым жило, скучало и сошло в могилу целое поколение. Это эпитет, объединяющий и объясняющий всю ту «пеструю массу скучных серепьких людей, которые вскоре замелькали перед нами в «сумеречных» разсказах Чехова и по адресу которых в массе могут быть направлены слова, брошенные ссыльным татарином «семикаторжному» Семену: «Бог создал человека, чтобы живой был, чтобы и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит—ты не живой, а камень, глина!» («В ссылке», рассказ Чехова).

Продукты того же десятилетия, которые поглотили внимание последних лет жизни Щедрина, герои чеховских рассказов—все те же знакомые нам «игрушечного дела людиш-

ких. Даже наиболее выдающиеся из них лишены той внутренней силы, без которой человек становится рабом и игрушкой распоряжающихся им «обстоятельств». Николай Степаныч, старый профессор из «Скучной истории», сам сознается, что он вполне лишен всякой объемлющей жизнь «общей идеи», того, что сам же он называет «богом живого человека». И что же можно сказать про сотни всех остальных «пестрых» людишек, изо дня в день живущих во власти окружающей их среды? «Из пятидесяти тысяч живущих в городе,—жалуется Иван Иваныч в «Крыжовнике»,—нет ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился... Все тихо, спокойно, и протестует только одна немая статистика»... Быть может, Чимша Гималайский в данном случае слишком подчеркнул факт, употребил не совсем точное выражение, потому что протестовала, конечно, не одна только статистика. Протестовал и человек, средний человек, протестовал даже в общем нередко, свидетельства чего в изобилии отыщутся в произведениях и Щедрина и Чехова. Но по существу дела Чимша Гималайский был все же прав, потому что протест восьмидесятников расплывался в бесформенности, и бунтующий, мятежный средний человек продолжал оставаться нудным и скучным.

В этом отношении бунтующий восьмидесятник походил на «барана непонявшего». Ошеломленный какими-то сонными видениями, породистый баран потерял свойственную этому животному ясность мысли. Он и сам не знал, чего ему не хватает, не мог вспомнить и того, какой собственно сон нарушил его покой. Вспоминались ему «даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего». Но он чувствовал, что сердце его объято пламенем, что оно полно каких-то бессильных и бесформенных порываний, сделавших мучительной для него подневольную жизнь овечьего хлева. «Вольного Барана во сне увидел,—объяснял потом старый овчар Никита:—увидать-то во сне увидел, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох... Все равно как из нашего брата бывает»...

Рассматривая этот тип «мятежных» людей в произведениях Чехова, Андриевич удачно назвал их «людьми тоскливого искания». Подобно «барану непомнящему», они тоже смутно вспоминают какую-то даль, серебряным светом подернутую; они знают, что «где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая... Но где же она?» (рассказ «Володя»). И не отыскав ответа, они грезят о Москве, как грезил о ней портной Гриша из «Мелочей жизни», как вслед за ним стали грезить о ней и чеховские «сестры» [1], мечтают об Америке («Моя жизнь»), даже о всем земном шаре, как Чишмя Гималайский («Крыжовник»)... Грезят, мечтают, но, нудные, бессильные, они не знают выхода из сковавшей их обыденщины.

Щедрин и Чехов—два писателя, столь несходные между собой по темпераментам и по всему их духовному складу — встретились здесь и подошли вплотную друг к другу, объединенные одним общим объектом их творческого внимания.

Не мирясь с действительностью, но как современник чересчур переоценивая вес и постоянство ее мертвой массы, Чехов не мог быть строгим судьей тех, которые копошились под ее тяжестью.

О Щедрине никто не скажет, что он мирился с действительностью. Но и он в 80-е годы признал и отчасти (не в том, конечно, размере, как Чехов) переоценил ее. И так как одни и те же причины ведут к одинаковым следствиям, то и Щедрин пришел к тому, с чего начал Чехов, — к примирению со средним человеком.

Это значит, что оба художника признали факт, следовательно, и законность наступившего нового «порядка вещей», который в это время перестраивал русскую жизнь заново, с самых низов ее народно-хозяйственного фундамента. В медленном процессе совершавшегося переворота, против которого оказались бессильными все испробованные раньше героичес-

---

1) Отметим здесь кстати, что даже знаменитый припев чеховских „сестер": „в Москву! в Москву!" повторяет собой такой же припев Гришки, голова которого после несчастного брака была неотступно занята бесформенной мечтой о Москве.

кие средства, на историческую арену в роли героя нового времени выплыл средний человек. Но жалок был этот новый герой, безвольный, растерянный, в обстановке далеко еще не законченной новой социальной организации! Он мог топорщиться в ней, закипать мятежными настроениями, но в конце-концов он все же обязан был пассивным повиновением ее категорическим требованиям. Такой герой действительно мог скорее нуждаться в адвокате, чем навлекать на себя громы сатирических обличений.

И какую длинную и мучительную дорогу должен был пройти Салтыков, чтобы от сатир, гневом бичевавших всех помпадуров, ташкентцев и Деруновых, дойти до «Христовой ночи» (1886), где и богатеям, и мироедам, и жестоким правителям, и татям, и душегубцам, и лицемерам, и ханжам, и неправедным судьям,—всем, кроме предателя Иуды, возвестить открытый перед нами «путь к спасению». Им всем Щедрин находит теперь оправдание в том, что они «люди века сего и духом века сего руководятся».

В непроницаемой толще среднего человека, наполнившего дыханием своим атмосферу «века сего», притих, стал ровнее и мягче звучный голос сатирика с его былыми переходами от раскатистого смеха к трагическому пафосу. И переход к Чехову, художнику со сдержанной речью и тихой улыбкой, совершился в такой незаметной последовательности, что преемственность этих двух писателей не могла быть в свое время ни понята, ни оценена.

---

[1]) История русской литературы XIX века. Под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского. Том IV. Изд. Т-во „Мир" 1911. Стр. 230–283.

М. ОЛЬМИНСКИЙ

Н. Щедрин-Салтыков

1. Пролетариат в описании Щедрина
2. Деревенская буржуазия и крестьяне
3. Социалист-утопист в оценке современников
4. Щедрин и Ленин

I

ПРОЛЕТАРИАТ В ОПИСАНИИ ЩЕДРИНА

Начало широкого рабочего движения в России считается с забастовок по случаю коронации 1896 г. Щедрин умер семью годами раньше этого. В те времена, когда работал Щедрин, у нас шли споры о том, имеется ли в России пролетариат или его вовсе нет. Находились даже ученые либеральные профессора, которые доказывали, что в России нет почвы для распространения социалистического учения, потому что нет пролетариата. Тем не менее, мысль о пролетарском положении занимала Щедрина довольно часто. Прежде всего его внимание привлекало то, что у нас имеется готовый кадр для образования пролетариата в лице бесхозяйственной бедноты и бывших дворовых [1]. Возражая тем дворянско-буржуазным писателям, которые хвастались, что в России все благополучно и пролетариата не имеется, Щедрин говорил:

— Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни, даже подстоличные, и вы увидите сплошные массы людей, для которых, например, вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших дум и для которых даже не существует вопроса о материальных удобствах. Вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой бюджет заключается в пятнадцати-двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотанием бумаги.

[1]) Дворовыми называлась помещичья прислуга, не имевшая своего хозяйства при крепостном праве. Помещики держали очень много этой дворовой прислуги.

Многие возражали, что у нас не может быть пролетариата, потому что имеется земельная община. Щедрин отвечал, что община не обеспечивает крестьянина ни от разорения и пролетаризации, ни от обид.

— Говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но забывают, что существует громадная масса мещан, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса дворовых людей. А кроме того, забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства и уже довольно откровенно отзывается о мужике, что «в ем только тогда прок и будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

О дворовых, отцах и дедах пролетариата Щедрин говорит часто. Его рассказы о положении дворовых должен знать каждый рабочий, интересующийся историей своего класса. В общей форме Щедрин о положении дворовых вспоминает:

— « Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы вековой кабалы я видел в их наготе. Людей продавали и дарили, и целыми деревнями и поодиночке; отдавали в услужение друзьям и знакомым; законтрактовывали партиями на фабрики, заводы и в судовую работу (бурлачество)... Даже волосы крепостных девок эксплоатировали, продавая их косы парикмахерам. Не дозволяли дворовым вступать в брак и продавали мужчин (особенно поваров, кучеров, выездных лакеев и вообще людей, обученных какому-нибудь мастерству) поодиночке... Выдавали девок в чужие вотчины,—это называлось продать девку на вывод.

А фабриканты тогда говорили:

— Мы испокон века такие дела делали, завсегда у господ людей скупали,—иначе где же бы нам работников для фабрики добыть».

Подробно жизнь и типы дворовых изображены в «Пошехонской старине», в рассказах: «Крепостная масса», «Аннушка», «Мавруша Новоторка», «Ванька-Каин», «Конон», «Бессчастная Матренка» и «Сатир-скиталец».

Аннушка, можно сказать, была убежденной рабой. Для того, чтобы хоть как-нибудь смягчить и оправдать горечь и безнадежность своей безотрадной, рабской доли она искала утешения в религии и в той же религии почерпала источник для объяснения дворянского всевластия. Она говорила:

— Христос-то для черняди с небеси сходил, чтобы черный народ спасти, и для того, благословил его рабством. Сказал: «рабы, господам повинуйтесь, и за это сподобитесь венцов небесных».

Но о том, каких венцов сподобятся в будущей жизни господа, она, конечно, умалчивала.

Аннушка любила проповедывать и между прочим говорила:

— Вот как святые-то приказания царские выполняли: на костры шли, супротивного слова не молвили, только имя господне славили. А мы что? Легонько нашу сестру господин пошпыняет, а мы уже кричим: немилостивый у нас господин, кровь рабскую пьет.

Но даже и такие речи были очень не по душе тогдашним господам. Помещики требовали, чтобы крепостные ни о чем и никак не рассуждали.

— Ты что, бунтовщица, мутишь?—кричали они на Аннушку. Им было обидно слышать, что они осуждены в будущей жизни горячую сковороду лизать, а крепостные будут по райским садам гулять, и говорили между собой:

— Беда, как этот дух в дворне заведется: ходят тихони, на цыпочках, ровно святые! Ни ты ему слова не скажи, ни пальцем не тронь. «Слушаю-с, вся ваша воля»,—только и слов. Ни усмешечки в лице, ни в голосе повышения, привязаться не к чему! А посмотри на него, всякая жилка у него говорит: «что же, мол, не бьешь? бей! Зато в будущем отольются кошке мышкины слезки».

— И ведь как канальи притворяются,—говорил другой

помещик,—давеча иду мимо лакейской, слышу Паладкин голос, и остановился. И что же, вы думаете, он проповедует? «Христос-батюшка, говорит, что сказал? ежели тебя в ланиту ударят,—подставь другую!» Не вытерпел я, вошел, да как гаркнул: вот я тебя разом, шельмец, по обоим ланитам вздую, чтобы ты и не подставлял! Так, ведь, вот какой закоренелый: даже и тут не очнулся! «Извольте, сударь, мы из вашей воли не выходим».

Такова была одна из первых форм протеста дедов нынешнего поколения пролетариата против своих хозяев; это было первое, еще убогое зачаточное проявление как бы своей классовой сознательности. Но были тогда же и другие формы протеста, более решительные, хотя и одиночные. Вот личный протест цырюльника Ивана Макарова («Ванька-Каин»,— как назвал его помещичий сын).

Иван Макарович работал в Москве; он не высылал оброка, и за это его вызвали в деревню.

— А, золото! Добро пожаловать! Ты что же, молодчик, оброка не платишь?—приветствовала его помещица.

— Помилуйте, сударыня, я бы с превеликим моим удовольствием, да, признаться сказать, самому деньги нужны были.

— А вот я тебя сгною в деревне. Я тебе покажу, как шута перед барыней разыгрывать!

— Это как вам будет угодно. Я и здесь в превосходном виде проживу.

— Ах, ты хамово отродье! Скажите на милость!

— Мерси-бонжур [1]. Что за оплеуха, коли не достала уха! Очень вами за ласку благодарен!

— Вон!—крикнула помещица, делая угрожающий жест.

— Же-ву-фелисит [2]. Не доходя прощедши. Не извольте беспокоиться, получать не желаю.

Ивана Макарова в тот же день наказали розгами. Велели ему косить, он не пошел.

1) По-французски: „благодарю: здравствуйте".
2) По-французски: „поздравляю".

— Ты что же, голубчик, на сенокос не пошел? — кричит помещица.

— Позвольте, сударыня! «Здесь стригут и бреют и кровь отворяют», а вы меня с косой посылаете. Разве благородные господа так делают?

— Ах, мерзавец! Он еще шутки шутит! Сейчас же к Алемпию сам ступай: пускай он тебе по-намеднишнему засыплет.

— Однажды шел дождик дважды. Вчера засыпали, сегодня засыплют. Об этом еще подумать надо, сударыня.

Прошло немного времени, и Иван уже говорил:

— Ни одного суставчика у меня живого нет; умирать пора.

Его пытались вызвать на шутки, но он взглянул так тоскливо, что оставалось только мысленно согласиться с ним: умирать надо.

Также быстро кончилась жизнь Мавруши. Она была городской жительницей, мещанкой, но вышла замуж за крепостного живописца Павла и сама по закону стала крепостной. Ее и Павла потребовали в деревню и заставили работать господскую работу. Тут только Мавруша поняла, что закрепостила себя. И она решила не подчиняться.

— Долго ли твоя дворянка будет сложа ручки сидеть? — спрашивала помещица.

—Простите ее, сударыня! -умолял Павел, становясь на колени.

— Нет, ты мне отвечай: долго ли дворянка твоя будет праздновать?

— Не умеет она работу работать. Хлебы вот печет.

—Это в неделю-то три-четыре часа! А знаешь ли, как другие работают?

— Знаю, сударыня. Да хворая она у меня.

— Вот я эту хворь из нее выбью. Ладно! Подожду еще немножко, посмотрю, что от нее будет. Да и ты хорош гусь! Чем бы жену уму-разуму учить, а он целуется да милуется. Пошел с моих глаз, тихоня!

Мавруша и хлебы печь отказалась. Доложили барыне.

—Это еще что за моды такие?

— Не знаю. Говорит: «не слуга я вашим господам, а вольная».

— А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее, да и оболтуса—мужа кстати позвать!

Павла заставили высечь жену, и забитый с молодости Павел исполнил это.

— Срамник ты!—сказала ему Мавруша.

И Павел понял, что с этой минуты согласной жизни наступил бесповоротный конец. Он еще пытался просить барыню:

—Отпустите нас, сударыня! Я и за себя и за нее оброк заплачу.

— Ни за что! Даже когда иконостас кончишь, и тогда не пущу. Сгною в деревне! Сиди здесь, любуйся на свою женушку милую.

Мавруша скоро повесилась; тело ее, обернутое в дырявую рогожу, взвалили на сани и увезли в болото.

Окончила самоубийством и крепостная девушка Матренка-бессчастная, над которой надругались, решивши насильно выдать замуж. В темную ночь, когда на дворе бушевала вьюга, Матрена вышла на крыльцо в одной рубашке и села. Стужа пронизывала все тело. Но она не шевелилась. Смерть приходила не вдруг; скорее это был сон, который до тех пор убаюкивал, пока сердце не застыло.

Помещики извлекали себе доход даже из сбора подаяний на церковь. И крепостной Сатир-скиталец отчасти спасал себя тем, что, возвращаясь после побега, приносил барыне собранные немалые деньги. Тем не менее, когда он возвращался, барыня приставала.

— Ничего-то ты не делаешь! Как только одурь тебя не возьмет!

— Неможется мне. Тяжелой работы не в силах работать.

— Ты бы в комнатах послужил! Кажется, не тяжелая это работа!

— Где уж, сударыня, мне! Я и ступить-то в барских хоромах не умею. Вот кабы богу послужить!

Вскоре стало ясно, что у Сатира чахотка и смерть близка. Он лежал в грязной и тесной каморке. К нему зашла Аннушка.

— Ну, что, Сатирушка, каково?

— Кашлять тяжко. Того гляди сердце соскочит. Чего доброго,—на тот свет в рабском виде предстанешь.

—Так что же, в рабском? Прямее в рай попадешь. И Христос в рабском виде на землю сходил и за рабов пострадал.

— Оно так, да в ту пору рабы другие были, извечные.

— А мы какие же?

— А мы прежде вольные были, а потом сами свою волю продали. Из-за денег господам в кабалу продались. За это вот и судить нас будут.

— Не мы, чай, продались. Наши-то родители и дедушки все спокон веку рабами были.

—Все равно; ежели и в старину отцы продалися, мы за их грехи отвечать должны. Нет того греха тяжелее, коли кто волю свою продал. Все равно, что душу.

— Не пойму я тебя. Как же с этим быть?

— Кругом нас неволя окружила, клещами сжала, райские двери навеки перед нами закрыла.

Совсем умирающий сатир обратился к барыне с просьбой.

— Богу я послужить желаю. В монастырь бы... В ангельском чине на вышний суд явлюсь и за вас молитвенником буду.

Помещица задумалась. «Стала быть он так-таки и пропадает»,—мелькало у нее в голове. Однако, стоило взглянуть на Сатира, чтобы убедиться, что высказанное им желание—последнее, и барыня дала согласие. Но Сатиру все же пришлось умереть рабом.

Все эти рассказы об Аннушке, Сатире, Иване Макарове, Мавруше и другие написаны Щедриным незадолго до смерти.

Но безрадостная жизнь дворовых и раньше постоянно привлекала его внимание. Часто он вспоминает о них мимоходом. Из отдельных же рассказов о дворовых стоит упомянуть еще «Миша и Ваня»,—написанный около 1861 года («Невинные рассказы»).

Ночь. Барыня засиделась в гостях. А дворовые мальчики Миша и Ваня должны ждать ее, не смеют спать. Ваня—крепкий, быстрый, черноглазый Миша—слабенький, белокурый с синими глазами.

— Холодным-то ножом, чай, больно?—спрашивает Миша.

— Это только раз больно, а потом ничего! — отвечает Ваня.

— А помнишь, как повар Михей резался? Тоже сначала все хвастался: зарежусь, да зарежусь! А как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то...

— Ну что ж, что повар Михей! Михейка и вышел дурак! Потом, небось, вылечился, а для чего вылечился? Все одно, наказали дурака; а мы уж так полыснем, чтобы не вылечиться.

— Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?

— Когда не приготовил! еще с утра выточил! Только ты у меня смотри,—чур не отступаться!.. Коли мы это теперича сделаем, то беспременно в рай попадем, потому что теперь мы маленькие и грехов у нас нет. А заместо нас попадет в ад барыня.

— И бить никто больше не будет?—прошептал Миша.

— И бить не будет! Возьмут твою душу ангелы и понесут к престолу божьему.

Дальше дети вспоминают всякие мучительства, на которые они успели насмотреться. Затем обошли все комнаты, осветили их. Вдруг, звонок,—господа вернулись. Дети быстро затушили свечи и открыли дверь.

— Кто свечи в зале зажигал?

— Никто не зажигал-с.

— Мерзавец!

Сильный удар свалил Ваню с ног.

— Кто зажигал свечи в зале?—накинулась барыня на Мишу, который стоял ни жив, ни мертв.

— Никак нет-с,—едва-едва прошептал Миша.

— Долго ли вы мучить-то нас будете?—каким-то неестественным голосом закричал Ваня, вскочив с полу; и не успел никто моргнуть глазом, как он уже впился ногтями в рот и нос барыне. Ей стало дурно. Ваню насилу отняли от нее, потому что он словно замер и закоченел весь.

Рано утром мальчики ушли за город, в овраг. Проезжавшие крестьяне услышали стон из оврага. Спустились туда: Ваня был уже мертв, а Миша еще живой лежал с порезанным горлом.

Как видит читатель, у крепостных предков наших рабочих, у прислуги и мастеровых, не было иного исхода, как рабство. Но не лучше было положение тогдашнего мастерового и в первое время после падения крепостного права. Об этом Щедрин повествует в большом рассказе «Портной Гришка» (в «Мелочах жизни»).

Григорий Авениров был лучшим портным в уездном городе. Но настоящей работы ему не было: все мелкая, грошовая починка. Он рассказывает:

— По крайности, как были крепостные, так знали, что свой господин бьет, а нынче всякий, кому даже не к лицу, скулу своротить норовит. А сверх того и голодом донимают: питаться нужно, а работы нет. Ушел бы в Москву, да куда я со стариками, со своей слабостью, там поспел? С малых лет все в колотушках, да в битье. Должно быть несуразный я от роду вышел, что даже отец родной, и тот меня не жалел.

— Все-таки, по моему, на воле вам лучше живется!

— Известно, как же возможно сравнивать! Раб или вольный! Только доложу вам, что и воля воле рознь. Теперича я, что хочу, то и делаю. Теперь я сам себе господин. А нутко ступай, «сам себе господин», побегай по городу, не найдется ли где дыра, чтобы заплату поставить, да хоть двугривенничек на еду заполучить!.. Кабы дали мне волю,

да при сем капитал, и я бы распорядиться сумел! А то вышли мы в те поры дворовые на улицу; и направо и налево глядим, а что случилось,—понять не можем... Эх, кабы кто мне жалованье положил,—кажется, я бы по смерть тому человеку половину отдавал...

Григорий стал с горя пить, а чтобы добыть лишнюю копейку, превратился в шута на потеху купцам. И тут не было конца его унижениям и оскорблениям. А исход—тот же, что и для многих дворовых при крепостном праве: Григорий бросился с колокольни. Когда служба кончилась, дьячок споткнулся об его тело.

— На человека наткнулся!—крикнул он,—ишь пьяница растянулся!

Стали тормошить «пьяницу»—не встает. Принесли фонарь и опознали Гришку.

— Ах, расподлая твоя душа!—крикнул кто-то в собравшейся толпе.

Рассказ «Путем-дорогою» вводит нас в круг мыслей крестьянина, которого нужда выгнала в Москву на заработки. Каменьщики Иван Бобров и Федор Голубкин выпросились на побывку в сенокос. От станции до деревни верст сорок. Идут пешком.

— Что-то теперь наши делают?—начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли; пашут... круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет.

—А у меня, брат, еще горе: к Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу. Свах с подарками засылает; одну батюшка вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь.

— Нам худо, бабам нашим еще того хуже. Мы по крайности в Москву сходим, на свет поглядим; а баба—куда она пойдет? Словно в тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похожа. И всякий-то норовит ее обидеть, да обозвать...

—А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится?

— Мне один молодой барин в Москве сказывал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

—Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, — только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные люди, бессчастные.

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души — и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева: какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; о-бок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением: старшина, становой, барин.

— Одворицу выкупил да надел на семь душ! Совсем из мира уволился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают, и хлеб жнут.

— Нет, ты скажи, где Правду сыскать? Сыщу я Правду, сыщу!

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас: время не наступило! — сказал Иван. — Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтобы до нового есть было что.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

—И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем!

Присели отдохнуть.

— Смотри, Федя, — молвил Иван: — во все стороны, — сколько простору! Всем место есть а нам...

Для правды время не наступило, — это уже не та безнадежность, которая при крепостном праве открывала только один путь освобождения — самоубийство.

Время еще не наступило, но оно придет. Нужно только крепче искать правду, вырабатывать в себе сознательность и готовность к борьбе против вновь народившегося врага, против буржуазии, против Василия Игнатьева.

II

ДЕРЕВЕНСКАЯ БУРЖУАЗИЯ И КРЕСТЬЯНЕ

Вопросу о деревенской буржуазии, о кулаках, Щедрин уделяет много места. Кулакам он дает и фамилии, соответствующие их деятельности: Дерунов, Колупаев, Разуваев и тому подобные. Эти кулаки, обирая крестьян, умели делиться с чиновниками, а чиновники всячески помогали кулакам. Так было снизу доверху, и всех этих кровопийц покрывало царское самодержавие. Поэтому буржуазия, наравне с попами и полицией, стояла на страже самодержавной власти, защищала эту власть и православие, посредством которого старались одурманить голову народа. Кулака Щедрин иногда называет чумазым и рассказывает о нем:

— Чумазый вторгся в самое сердце деревни и преследует мужика и на деревенской улице, и за околицей. Обставленный кабаком, лавочкой и грошевой кассой ссуд, он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума и в заключение взывает к властям об укрощении людей, взволнованных его же неправдами. Поле деревенского кулака не нуждается в наемных рабочих: мужики обработают его не за деньги, а за проценг или в благодарность за «одолжение». Вон он, дом кулака! Вон он, высится тесовой крышей над почерневшими хижинами односельцев; издалека видно, куда скрылся паук и откуда он денно и нощно стелет свою паутину.

В другом случае Щедрин говорит:

— Чумазый идет, чтобы показать, где раки зимуют. Он наглый, с цепкими руками, с несытой утробой. Его пришествие уже приветствуют охранители и публицисты. Арена

его обездоления бесконечна, и всегда будет казаться, что процесс обездоления не совершил всего своего круга. Мироедский период еще не исчерпал своего содержания; чем ближе к концу будет приходить его речь, тем жестче и неумолимее скажется его последнее слово... Сдается, что придется пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастия. А что чумазый будет держаться за свое торжество упорно, за это ручаются его откровенно-нахальные замашки и самоуверенная бессовестность.

Если кулак достаточно бессовестен и удачлив, то он превращается в крупного буржуа. Об одном таком кулаке Щедрин рассказывает следующее (в «Благонамеренных речах» главы: «Столп» и «Превращение»):

Осип Иванович Дерунов в молодости имел приятную наружность и был любимцем помещиков, которые называли его министром. Держал постоялый двор. Богатство его началось с того времени, как он обокрал купца, умершего на постоялом дворе. К 60 годам у него земли — почти четверть уезда в руках. О бедняках рассуждает так:

— Ежели человек бедный, так чем меньше у него, тем даже лучше... Не разоряю я, а исподволь взыскиваю.

— Хлебом торгуете?

— Хлебом нынче за первый сорт торговать. Насчет податей строго, ну и везут. — Когда же крестьяне не соглашались продать хлеб за слишком низкую цену, Дерунов говорит: — Ростом не вышли! Бунтовать не позволено! Армию, сударь, хлебом продовольствую. Помирать что ли армии-то? По твоему, это не бунт?

— Скот покупаете тоже, я слышал?

— И скот скупать хорошо, коли ко времю. Вот в марте кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнут,— тут только не плошай! За бесценок целые табуны покупаем, да на винокуренных заводах на барду ставим! Хороший барыш бывает. — Я нынче фабрику миткалевую завел: очень уж народ дешев...

Темный народ легче обирать, и потому Дерунов — враг книги:

— Да, строгонько ноне насчет этих чтениев стало. Насчет вина свободно, а насчет чтениев строго. За ум взялись... Коли ежели без пользы читать, так от чтениев даже для рассудка не без ущерба бывает. День человек читает, другой читает, — смотришь, по времени и мечтать начнет. Отобьется от дела, почтение к старшим теряет, начнет сквернословить. Вот его в ту пору сцарапают, раба божьего, и на цугундер. Веди себя благородно, не мути, уныло-сти на других не наводи. Так ли, по твоему, сударь?

Раньше Дерунов одевался из скупости попросту. Затем вдруг сразу преобразился: надел соболью шубу, цилиндр, остановился в Петербурге в лучшей гостинице, окружал гвардейскими офицерами жену своего сына, с которой сам находился в связи (снохач). Выжимание грошей сменилось у него крупным грабежом, — он стал настоящим представителем крупной буржуазии.

Вообще кулаки (Деруновы, Разуваевы, Колупаевы) после отмены крепостного права, по словам Щедрина, взялись «остепенить» мужика, заставить его нести непосильный труд, такой же, как при крепостном праве. Они не вводили ни усовершенствований, ни знаний, а стремились стеснить крестьянина и называли это «делом». В этом деле они шли заодно с самодержавием и называли крамолой и вредным мечтанием всякую попытку улучшить положение деревни.

— Довольно мечтаний! довольно фраз! за дело! — покрикивали они.

К этому мы должны добавить, что все эти кровопийцы давали своим детям образование. На награбленные отцами деньги сыновья проходили университет и становились «интеллигенцией», орудуя отцовскими капиталами, уже готовыми, и кичась своею культурностью и честностью.

Между кулаком и деревенской беднотой стоит, по описанию Щедрина, так называемый хозяйственный мужичок (см. «Мелочи жизни»). Для обеспечения сытости хозяйствен-

ный мужичок выработал особую науку. Главная его забота в том, чтобы домочадцы ели возможно меньше; поэтому он не дает им свежей провизии, а гостей угощает сразу стаканом водки, чтобы они скорее захмелели; скотину закармливает с осени. Голова его вечно занята хозяйством. Главная язва его жизни — деньги на подати. Ради податей он обрезывает свой кусок. Он так привык к вечной думе о хозяйстве, что иной жизни и представить себе не может: даже в дороге он подбирает всякую дрянь, — дома пригодится. Выручка от продажи продуктов в городе редко оправдывает его ожидания, и он старается наверстать потерянное усиленной работой. Он не сходит с полосы и к концу лета едва ходит. Осенняя страда легче. В рождественский мясоед справляются свадьбы, рассчитанные так, чтобы роды и новорожденные не мешали страде. Забота о хозяйстве затемняет в хозяйственном мужике даже любовь к семье: у него нет никаких дум, кроме думы о хозяйстве: «ради нее он отдает себя и семью в жертву каторге, ради нее терпеливо выносит всякие неожиданности».

В результате таких непрестанных забот и усилий создается некоторое благополучие: запасов вдоволь, скотина в избытке, дети в порядке, даже деньги в черный день водятся. В таком положении до мироедства — один только шаг. Но хозяйственный мужичок от природы чужд кровопийства: его не соблазняет ни лавочка, ни торговля водкой. Щедрин заканчивает свой рассказ о хозяйственном мужичке следующими словами:

— Да, это был, действительно, честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел свой дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?

Эти вопросы поставлены Щедриным не случайно. Нет, через всю литературную деятельность его проходит один главный, основной мотив: требование, чтобы каждый человек стремился к высоким общественным целям, к общей луч-

шей жизни или, как говорится, к служению широким общественным идеалам. Очень часто обозревал Щедрин разные слои русского населения с этой главной заботой, — найти такой слой, достаточно широкий и сильный, который боролся бы за лучшее будущее, стремился бы к сознательности, к выработке крепких убеждений и к проведению их в жизнь.

Само собой разумеется, что таким слоем не могли быть для Щедрина никакие эксплоататоры и угнетатели: ни помещики, ни чиновники, ни буржуазия, ни духовенство. К несчастью, и в крестьянах Щедрин находил слишком мало стремления к высоким целям, мало готовности к общественной борьбе. Но крестьянин не был ни эксплоататором, ни угнетателем, и к нему лежала душа Щедрина, о нем была постоянная забота этого великого писателя. Основу русской жизни он видел в деревне, в крестьянстве, и отсюда ждал возможного улучшения.

—Как ни взмывай крыльями вверх, — говорил он, — а поселка все-таки не миновать: там настоящий пуп земли, там решение задач, там ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего. И нужно пройти туда.

А пройдя в деревню, вы прежде всего наталкиваетесь на непроходимую бедность и непомерный, вековечный труд: русский крестьянин «беден, действительно беден всеми видами бедности, какие только можно себе представить, и что всего хуже — беден сознанием этой бедности. Приди он к этому сознанию, — его дело было бы уже наполовину выиграно».

Что же касается непомерного труда, то он лучше всего описан в сказке Щедрина «Коняга». Прочтите, читатель, рабочий и крестьянин, эту небольшую сказочку-быль, непременно прочтите. Мало есть на свете рассказов, оставляющих такое сильное впечатление, как «Коняга», и заставляющих так сильно задумываться над вопросом, почему самый тяжелый труд приносил до сих пор человеку самую безысходную бедность, почему так изможден этот вечный труженик Коняга и почему так легка и весела жизнь Пустопляса-барина.

— Из века в век цепенеет грозная, неподвижная гро-

мада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот поливает кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Вот этот вопрос: кто же освободит деревню от безысходной нужды, забитости и приниженности? Кто исцелит крестьянину его наболевшие раны? — этот вопрос всю жизнь больше всего занимал мысль Щедрина. Широкого рабочего движения в те времена еще не было в России, и крестьянин, — что самое страшное, — был слишком беден сознанием своей бедности, был разрознен и не умел дружно протестовать. В отсутствии освободительной силы было больное место торгашей жизни, была трагедия Щедрина, как писателя [1]).

---

1) Н. Щедрин-Салтыков. Изд. „Московский рабочий". 1926. Стр. 11—33.

III

СОЦИАЛИСТ-УТОПИСТ В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

Будущий историк современного освободительного движения не может обойти молчанием связи новейших событий с юридической ликвидацией крепостного права помещика над личностью крестьянина. Это — один неразрывный процесс, совершавшийся различным темпом в разное время. Но темп, как говорят, делает музыку, и для членов общественного организма далеко не безразлично, каким темпом бьется пульс освободительного движения. В зависимости от характера момента находится та форма, в какой личность вообще — и личность, стоящая в центре освободительного движения, в частности, — реагирует на запросы жизни.

Я обращаю внимание читателя на одну черту, общую нашему времени и началу так называемой «эпохи великих реформ». В обоих случаях теоретическая мысль, работавшая

Настоящая статья М. Ольминского была напечатана в 1906 г. в журнале „Образование" (№ 12). В ней приводится мысль, что идеологи пролетариата широко принимают огромную долю щедринского литературного наследства. Из этой обстоятельной статьи мы опускаем полемическую часть (возражения Скабичевскому, Михайловскому, Андреевичу-Соловьеву, Арсеньеву и друг.). В настоящее время вышла брошюра М. Ольминского „Н. Щедрин-Салтыков" (изд. „Московский Рабочий", М. 1926). В ней автор придает особое значение „сказкам" Салтыкова, которые и рекомендует в первую очередь своим читателям („лицам, только начинающим читать Щедрина, я рекомендовал бы прежде всего „Сказки", „Мелочи жизни", „Господа Головлевы"...).

над обоснованием общих принципов, была призвана оставить уютную келью безмятежного ученого, чтобы ринуться в сутолоку повседневной жизни и подвергнуться проверке на деле. И перед носителями теоретической мысли в обоих случаях предстала трудная задача: не остаться в стороне от жизни и в то же время не растерять основных принципов, увлекшись «осязательными результатами» непосредственного успеха. С этой точки зрения представляет животрепещущий интерес вопрос о том, как социалисты-утописты второй половины XIX века встретили неизбежную проверку своих принципов, насколько сумели они удержаться на принципиальной высоте теоретических выводов, — как они падали и как подымались. То, что в наши дни известно вообще под именем оппортунизма, называлось в то время преимущественно компромиссом, — и вопрос об отношении между идеалом и компромиссом был тогда таким же больным и жгучим вопросом, каким в наши дни является отношение между принципиально-выдержанной и оппортунистической тактикой.

Накануне российской «эпохи великих реформ», конечно, не могло быть речи о сколько-нибудь широком проникновении российских деятелей идеями научного социализма. Вспомним, что и на Западе идеи марксизма еще только пролагали себе первые тропинки в умы пролетариата. А в России пролетариат молчал. Что же касается передовых деятелей теоретической мысли из других классов, то они, правда, пережили и гегелевскую философию, и своеобразные попытки «поставить на ноги» идеалистическую философию Гегеля и многое другое, что явилось исторической предпосылкой идей научного социализма; но не нужно забывать, что не борьба пролетариата против буржуазной эксплоатации, а борьба буржуазно-гражданского общества против пут крепостничества являлась социологической предпосылкой, определившей мировоззрение наших социалистов-утопистов.

К сожалению, самый крупный из русских социалистов того времени, Н. Г. Чернышевский, пал слишком рано от

руки мундирных черносотенцев, не остановившихся в свое время перед судебным подлогом, как в наше время они не останавливаются перед подлогом якобы «общественных» взрывов религиозной и племенной ненависти. Из других социалистов эпохи крупнейшей величиной по продолжительности влияния и по богатству литературного наследства является Салтыков-Щедрин.

Воспитанный в идеях, которыми мучились и перед которыми преклонялись так называемые «люди сороковых годов», Щедрин с самого начала страдал от сознания оторванности передовых идей от мира реальной жизни. На своем образном языке Щедрин так определяет положение «людей сороковых годов». Они вели две жизни рядом. «В первой области—вопрос о том, позади ли нужно искать золотого века или впереди; во второй—вопрос об устройстве золотых веков при помощи губернских управлений и управ благочиния, на точном основании изданных на сей предмет узаконений». Понятно, что первый проблеск эпохи реформ сильнее всего ударил Щедрина именно по этому больному месту: наш социалист-утопист не мог не кинуться с головой в сутолоку просыпающейся жизни.

Известно, на манифест 19-го февраля Герцен ответил обращением к Александру II: «Ты победил, Галилеянин!». Немудрено, что и менее Герцена искушенный Щедрин на момент как бы потерял способность надлежащей оценки явлений русской политической жизни. Реформа 19-го февраля представилась ему актом великодушия: «Теперь все это (крепостное право) какой-то тяжкий и страшный кошмар; этот кошмар от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно! Ибо кто может ручаться, не лизал ли бы без этого слова Сенька горячую печку и до сей минуты? Не хотела ли бы девка Ольга Никандровна и до сей поры стриженая и оплеванная гостями своей барыни? Где гарантия противного?.. Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многие лета, если бы силь-

ная воля не вызвала нас из тюрьмы кровавого добродушия и бездны ехидной веселости?» («Невинные рассказы»).

Если источником обновления является «сильная воля», то проводниками его, естественно, должны оказаться чиновники, добросовестно являющиеся орудиями «сильной воли». И Щедрин делает попытку изобразить положительный тип в лице чиновника Ник. Ив. Шалимова. Губернские аристократы—эти рабы лукавые—не любили Шалимова: «Человек этот, будучи поставлен природою в равные к нам отношения, постоянно проявлял наклонности странные и даже подлые. Дружелюбный с низшим сортом людей, он был самонадеян и даже заносчив с равными и высшими» и т. д. Шалимов в глазах глуповца—принцип, подрывающий основы его внутренней жизни. Массы к нему равнодушны. А между тем он все-таки сила благодаря тому, что и в Глупове порой дуют ветры, приходящие из Умнова.

Опираясь на ветры («веяния»), дующие из Умнова, Шалимов должен был, по мнению автора, не якшаться с глуповцами, покончить с Глуповым и делать свое дело, итти своей дорогою: «Стань в стороне от Глупова и верь, что грязь его не забрызжет тебя!»

Современная критика тотчас подметила в Щедрине эту фальшивую ноту. Принято с сплошным отрицанием относиться к известной статье Писарева «Цветы невинного юмора». Статья действительно курьезна во многих отношениях. Но основная мысль ее верна.

«В конце пятидесятых годов,—негодует Писарев,—Щедрин своим отрицанием сооружает фигуру идеального чиновника Шалимова; но по свойственной ему осторожности, автор «Губернских очерков» не произнес в этом направлении последнего слова; это слово, как известно, было произнесено графом Сологубом»...

Впоследствии Щедрин с грустью вспоминал об этом непродолжительном периоде своего увлечения великодушием сильной воли. В рассказе «Имярек» он жалуется на медленность своего развития. Попав в провинцию, Имярек подпал влия-

нию мелочей. Вместо служения идеалам, явилось служение долгу и букве закона. Имярек не замечал, что дело сводилось к личностям; порядок вещей ускользал из вида.

Быстро таяло обаяние великодушия сильной воли, и Щедрин ищет опоры в другом месте...

По характеру своего дарования, как художник-публицист, Щедрин постоянно отзывался на злобу дня, рисовал типы, выступавшие на общественную авансцену, и в то же время давал оценку описываемых явлений. В изображении этих последних можно искать материалов для истории русского общества, а их оценка Щедриным дает драгоценный материал для анализа миросозерцания автора вообще и для получения ответа на вопрос о том, как возможно без компромисса, не оппортунистически, реагировать на повседневные явления жизни.

Но, может быть, сам Щедрин на деле был именно человеком компромисса? Может быть, отмеченный выше период принципиальной невыдержанности не был единственным в его жизни?

Косвенным ответом на эти вопросы может служить одно замечательное явление: Щедрин удивительно точно предвидел события,—предвидел так, как никто из его современников. В 1872 г. он так изображает Россию 1897 года:

«Европа давно уже изменила лицо свое: одни мы, русские, остаемся попрежнему незыблемы счастливы и непреоборимы. В Европе вследствие безначалия давно есть нечего, а у нас попрежнему всего в изобилии. Идя постепенно, мы дожили до того, что даже Верхотурье увидело гласный суд. Исправники не называются больше исправниками, а носят титул «излюбленных губернаторами людей». Вредный административный антагонизм исчез совершенно. Земские управы, изнемогши в борьбе с мостами и перевозами, оставили за собой лишь статистику, но зато довели эту науку до совершенства. Городские головы оставили за собой одну специальность: угощать по воскресеньям излюбленных губернаторами людей пирогами. Независимость суда была счастливым обра-

зом уравновешена перспективой повышений и наград. Воровать и грабить воспрещено строго-настрого. Гражданские процессы прекратились. Паспортов нет: на место их введены маленькие-маленькие карточки. Пастухи склоняют mensa. Разделения на военных и статских не существует: все одновременно и статские и военные. Подати все платят, и притом с удовольствием, и притом против прежнего втрое. Политические и литературные партии исчезли. По смерти Пьера мы успели посадить на президентском кресле Петра Толстолобова»...

Это предсказание сделано в «Дневнике провинциала», где автор делает смотр составным частям нашего «общества», приходит к безнадежным выводам относительно его способности бороться за новые формы жизни. Как известно, почти одновременно Глеб Успенский, сотрудник Щедрина по журналу, начал свой глубокий анализ основ крестьянской жизни и мировоззрения мелкого производителя и пришел к тем же безотрадным выводам. Метод анализа общественных сил привел Щедрина к выводам—увы! —так резко противоречившим розовым мечтам идеалистической молодежи семидесятых годов! Верность предсказания, включительно до Петра Толстолобова на президентском кресле (в 90-х годах президентом был Феликс Фор, украшавший орденом Почетного Легиона директора департамента полиции Дурново за успешный сыск в Париже), — эта верность оценки общественных сил служит лучшим доказательством того, что оценка стояла выше всяких временных оппортунистических соображений.

Разочаровавшись в «сильной воле», Щедрин знал, что крепостничество будет до конца бороться за свое смрадное существование, — и он рисует картину последних моментов борьбы, картину наших дней:

«Ему как бы в видении представилось, что уже не было ни судов, ни палат, ни присутствий, — словом сказать, ничего, чем красна современная русская жизнь. Была пустыня, в которой реяли децентрализованные квартальные надзиратели из знающих обстоятельства помещиков. Бьют, испыты-

вают и ссылают, потом наскоро подкрепляют силы холодными закусками и водкой, и опять бьют, испытывают и ссылают»...

Если человек пришел к такому пониманию соотношения наличных общественных сил, то ему остается на выбор—или сократить свои требования до минимума, действовать «применительно к подлости», или смело, не поступаясь ни на йоту, держать знамя своих принципов. Щедрин выбрал второй путь. В то же время он все тревожнее, все болезненнее ищет своего читателя «не из команды слабосильных», который готов был бы принять дорогое знамя из слабеющих рук. Нашел ли он своего читателя? Сумела ли современная критика понять те принципы, с высоты которых Щедрин оценивал мелочи безыдейной жизни в рамках крепостного строя, потерявшего объективное оправдание своего существования?

На последний вопрос приходится в общем ответить отрицательно, хотя сочинения Щедрина пользовались громадным успехом.

«Книга Щедрина» Губернские очерки «составит эпоху в русской литературе», писал в 1857 году один из литературных обозревателей. Этот и подобные ему отзывы поддерживаются целым хором современников. Критики находят в Щедрине знание дела и понимание быта, им изображаемого; они хвалят его за верность изображения всей гнусности взяточничества, за меткую наблюдательность, с которою он вскрывает язвы общественной жизни, — неправду и взяточничество. Задачу Щедрина видят в том, чтобы поднести на суд публики обвинительный акт прошлого времени. Важно, то что в «Губернских очерках» является чуть ли не в первый раз попытка разоблачить закулисную сторону нашей администрации, говорит автор одной из критических статей. Щедрина называют главою новой школы «судебной литературы». В числе обличителей Щедрину отводится первое место (А. Пятковский). Щедрин известен как писатель-беллетрист, посвятивший себя преимущественно об'яснению явлений и вопросов общественного быта, говорит Анненков в 1863 г.

Щедрин, как бытописатель и обличитель, в первый период своей деятельности совершенно заслоняет в глазах читательской массы Щедрина, как борца за более или менее определенные идеалы. И это неудивительно. Обществу, в котором в течение многих лет печать была совершенно задавлена, прежде всего бросилось, как новое, именно яркое изображение его собственной физиономии. В то же время и у Щедрина, как мы видели выше из его собственного признания, не было достаточно ясных руководящих убеждений. Он сам определяет смысл «Губернских очерков», как обнаружение зла и порока.

Но из всего этого не следует, что мы, веря на слово автору, должны видеть в его работе только обличительную ценность, тем более, что, определяя свою деятельность, как обнаружение зла и порока, он не забывает тут же рядом указать на сочувствие добру и истине, — на нечто положительное, что вытекает из его отрицательного отношения к изображаемым явлениям.

Уже современники «Губернских очерков» — Чернышевский и Добролюбов, — нашли в этой книге более глубокий смысл. Анненков уже в отмечаемой выше статье констатирует, что не что иное, как цельность воззрения, более всего содействовало значению произведений Щедрина. Правда, эта цельность воззрения ограничивается, по мнению Анненкова, непреодолимым отвращением к дореформенному быту: у Щедрина нет еще определенного, законченного, установившегося созерцания, одушевление Щедрина «едва ли возможно связать с каким-либо глубоко продуманным политическим или социальным учением».

Тут для нас важно не то или иное решение последнего вопроса, — важна самая постановка вопроса о связи щедринского мировоззрения с политическими и социалистическими учениями. Политические противники и в позднейшее время обвиняли Щедрина в беспринципности. Большая часть этих обвинений объяснялась тем, что к Щедрину предъявлялось требование дать ответы на текущие вопросы в пределах

признания этих вопросов за существенные, основные задачи русской жизни. На подобные требования Щедрин дал меткий и достаточно определенный ответ в характеристике «мундирных реформ». Какой мундир лучше? Находятся люди, которые остаются в стороне от споров на эту тему, находя, что «оба лучше». Такой ответ заключает в себе отрицание самого принципа мундиров, — и вопрос о мундирах переходит на вопрос об отрицателях.

Щедрин имел право отвечать таким образом на упреки в мнимой беспринципности, потому что, по существу дела, его произведения в целом уже были полным ответом на вопрос об исповедуемых им принципах. Задача критики, сочувственной Щедрину, в том именно и состояла, чтобы дать дальнейшее выяснение литературной и общественной физиономии Щедрина. Но такого рода критику Щедрин, при своей жизни, нашел в самой незначительной дозе.

«Губернские очерки» появились в момент, когда крымская война обнаружила всю гнилость крепостных устоев. Наряду с официально провозглашенной идеей «улучшения быта помещичьих крестьян» работала более глубокая мысль, исходящая из потребностей вновь нарождающихся классов и требовавшая более глубокой перестройки общественных отношений. В щедринских «обличениях» чиновничьей деятельности представители названных двух течений реформаторской мысли должны были естественно найти неодинаковый смысл.

Идеологи господствующего класса, люди мелочных подновлений ветхого здания, увидели в «Очерках» только протест против злоупотреблений властью и ответили тем, что наводнили литературу грудой мелко-обличительных рассказов. Они воображали, что идут по стопам Щедрина.

Идейные выразители интересов вновь нарождающихся классов должны были прежде всего поставить вопрос: во имя чего протестует и обличает Щедрин. Критики этого лагеря,—или по крайней мере более глубокие из них,—тотчас заметили, что содержание «Губернских очерков» не ис-

черпывается «обличениями». Они, вероятно, нашли, что сводить все значение книги к обличениям, к раскрытию злоупотреблений, это значит, играть в руку людям вроде критика из «Отечественных Записок» (1857 года), который уверял: «По содержанию своему эта книга («Губ. оч.») принадлежит к тому разряду книг, к которому относятся «Открытия таинства карточной игры» и тому подобные сочинения». Более глубокая критика тотчас обратила внимание на психологические и социальные корни дореформенной мерзости запустения; она отметила, что рядом с господствующим классом и в контрасте ему в «Очерках» выступают на сцену люди угнетенного класса или, как тогда говорилось, народ.

Этот темный, забитый, такой неэстетический народ привлекает к себе все симпатии Щедрина. Почему? На этот вопрос можно было ответить двояко.

Народ мог привлекать к себе Щедрина своими страданиями, своей безысходной нуждой; автор жалел его, как жалеют всякого слабого,—и ребенка, будущего деятеля жизни, и умирающего старика. Элемент жаления встречается у нашего автора и в «Губернских очерках» и в более поздних произведениях: это элемент, ведущий к созданию интеллигентского типа «народолюбца».

Но критика могла заметить в произведениях Щедрина и несколько иную тенденцию по отношению к народу,—не как к объекту жаления, а как к могучему и здоровому носителю зачатков лучшего будущего, того самого будущего, в которое верил и которому служил автор. Если такое отношение было налицо в произведениях Щедрина, то между ним и народом устанавливалось, следовательно, внутреннее психологическое единение. Писатель в таком случае является уже не лицом, жалеющим сверху вниз бедняка, а человеком, живущим интересами бедняка или, в данном случае, «народа», является его идеологом. В сочинениях Щедрина можно достаточно найти и элементов этого, второго рода, отношения к еще недостаточно дифференцировавшемуся в сознании писателя «народу». Укажу пока один пример. По

поводу встречи с семьей Петруни, сданного в рекруты, автор говорит:

«Казалось бы, что общего между мной и этой случайно встреченной семьей? Какое тайное звено может соединить нас друг с другом? И между тем я несомненно сознавал присутствие этой связи, я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни».

Слова эти вызваны горем крестьянской семьи,—источником чувства является на первый взгляд жалость к чужому горю. Но достаточно вдуматься в содержание речи, чтобы увидеть в настроении и мыслях автора нечто большее, чем жаление.

Если же мы признаем, что смысл появления народа в рассказах Щедрина заключается в чем-то большем, чем выражение или вызывание сострадания к чужому горю, то нам станет более понятной и глубина щедринского отрицания той среды, к которой он сам принадлежал по рождению и общественному положению.

Если далее мы признаем, что Щедрин был не народолюбцем, а идеологом народа и его интересов, то наш главный интерес сосредоточится на вопросах о том, насколько чистым идеологом того или иного класса был наш автор, что внес он нового, как борец за интересы и идеалы класса или классов, выступавших в пореформенную эпоху на борьбу (сознательную или бессознательную) с представителями отживающего класса.

Вопросы эти, поставленные перед критикой уже «Губернскими очерками», продолжали ставиться и всеми позднейшими произведениями Щедрина. В течение тридцати лет появлялись почти ежемесячно его статьи, по большей части отвечавшие животрепещущему интересу современности. И блестящий художественный талант автора, и важная роль его персонажей, и злободневность поводов к статьям и рассказам,—все это вместе вело к тому, что для боль-

шинства читателей автор как бы терялся за объектами его изображения. Исключительное внимание они сосредоточивали на изображаемых явлениях, недостаточно замечая те руководящие начала, из которых вытекало отрицательное отношение автора к современной действительности. В этом источник однобокости и—я бы сказал—крайней легковесности большинства критических статей о произведениях Щедрина. Отсюда же создалось широко распространенное мнение, будто Щедрин имеет только временное значение. Говорят о громадном вкладе, сделанном Щедриным в историю пореформенного русского общества, и отсюда выводят, что произведения Щедрина представляют уже или скоро будут представлять только интерес исторического материала.

В самом деле, если значение, например, «Губернских очерков» ограничивается только обличением лени, пустоты и бесчестности дореформенного чиновничества, то какой в них теперь интерес? С реформированием чиновничьего облика, с превращением чиновников в ретивых исполнителей, довольствующихся указанными окладами, «Губернские очерки» должны потонуть в реке забвения, подобно сотням других обличительных произведений конца пятидесятых годов. Такая же участь должна постигнуть и все остальное щедринское литературное наследие. А между тем Щедрин продолжает читаться; им интересуются...

...Лет десять тому назад, когда русский марксизм только-что появился из подполья, на марксистов обрушились упреки в том, что они отказываются от идейного наследства предыдущих поколений русских борцов за идеалы. Марксистам пришлось отписываться, пришлось выяснять, «от какого наследства мы отказываемся» (Вл. Ильин) и «какое наследство мы принимаем» (Потресов). Обвинения против марксистов оказались облыжными. И выясняя литературную физиономию Щедрина, приходится сказать, что огромную долю щедринского литературного наследства с удовольствием принимают нынешние идеологи пролетариата.

Щедрин ценен для нас постольку, поскольку он звал

к борьбе за земные идеалы, а этот призыв—основной мотив всех произведений Щедрина. Пусть люди умирающих классов называют всякие идеалы утопиями,—Щедрин не боится страшных слов. Утопии, так утопии! Нужно только условиться относительно свойства приемлемых нами утопий. Щедрин предъявляет утопиям два ограничительных требования. Всякая утопия—нелепость в том случае, если не может указать, каким образом нужно вести человека к его будущим судьбам. Это, во-первых. Выражение «нужно вести» для нас, правда, неприемлемо; нужно только заметить, что и сам Щедрин не долго оставался на точке зрения «ведения». Позже, вводя второе ограничительное требование, Щедрин говорит: «Ошибка утопистов состояла в том, что они, так сказать, учитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое благополучие. Тем не менее, идея освобождения жизни от мелочей продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижной» («Мелочи жизни»). Наш читатель без труда заметит, насколько удаляется уже Щедрин от царившей в его время теории «критически-мыслящей личности», по своему произволу перестраивающей общественные отношения. Естественно, что современники Щедрина обвиняли его в битье по своим или защищали (защита эта не лучше обвинения), уверяя, что муза Щедрина очень редко (!) выбивалась из-под «контроля сознания».

Приняв приведенные выше ограничения, Щедрин горячо и страстно отстаивает законность «утопий». Как ни восставайте против утопий—без них истинно-плодотворная работа мысли невозможна. «Утопизм» пугает только улицу. Изменяемость общественных форм предрекает человеческому творчеству обширное будущее. Как Крамольников беззаветно верил в восстановление человеческого образа, просвет-

ленного и очищенного, подобно этому и Щедрин никогда не терял веры в будущее. В самый мрачный период восьмидесятых годов громко раздавался его голос, его защита утопий и «бредней». Человеческое никогда окончательно не погибало, говорил в это время Щедрин,—и не погибнет! Чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: понять, что гиенство вовсе не обладает волшебными чарами. Когда произойдет просветление, не будет надобности в приручении гиенства: зачем? Оно все равно не перестанет смердить, да и возни с приручением много!

И вот, за необходимость этого-то просветления, за сознательность в сфере общественной всю жизнь ратует Щедрин. Истинная сознательность невозможна иначе, как в виде представления о конечном идеале, к выяснению и осуществлению которого должны быть направлены все усилия. Подводя в «Пошехонской старине» итоги всей своей литературной деятельности, Щедрин справедливо говорит: «Не погрязайте в подробностях настоящего,—говорил и писал я,—но воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной мир обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим! Вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности... Что такое жизнь, лишенная идеалов? Это совокупность развращающих мелочей—и только!».

Это и есть та формулировка основного мотива произведений Щедрина, которую приходится признать единственно правильной. Приняв ее за исходный пункт, мы легко найдем прямой путь к целостному освещению литературной физиономии сатирика,—всего, когда-либо написанного им. Чтобы развить в читателях идеальные стремления, Щедрин прежде всего и больше всего анализирует пагубную роль бессознательности, затем ее разновидностей: самодовольной ограниченности, пошлости, обыденности и привычки.

Но полным отсутствием сознательности не ограничиваются помехи плодотворной сознательной деятельности. Пробудившееся сознание может пойти по ложному практическому пути и остаться бесплодным. Поэтому Щедрин беспощадно обрушивается на всякое увлечение подробностями и мелочами, на сужение задач и уступки. Он не находит достаточно сильных слов, чтобы заклеймить глубочайшим презрением людей компромисса,—оппортунистов всех сортов. Не менее сильно клеймит он практическую повадливость, трусость, воображаемое благоразумие.

Посредине между бессознательностью и искаженной сознательностью стоят бессознательное лицемерие и бессознательное лганье. Это специально щедринские определения: в обыденной жизни лганье всегда предполагается сознательным,—иначе это просто ошибка или незнание.

Но Щедрин верно подметил, что люди часто не хотят знать правды; они намеренно уклоняются от истины и прячутся за старыми словами, потерявшими смысл. Бессознательные лгуны искренни, потому что верят (или думают, что верят) в то, что говорят; но в то же время это—лгуны, потому что они боятся думать, им не выгодно итти в выводах до конца.

Можно было бы привести множество ссылок на сочинения Щедрина в подтверждение вышесказанного,—вернее, можно было бы привести всего Щедрина. Но это значило бы уже произвести исследование о Щедрине, а не о его критиках.

Несомненно, что человек, ставивший целью своей жизни выяснить необходимость прямой и последовательной борьбы за идеалы, не мог сам не обладать таковыми. Несомненно, что он не щадит тех форм общественности, которые считали уже отжившими. Но несомненно также, что критика отживших общественных форм имела у Щедрина в основе своей не столько противопоставление старым формам новых, сколько идею необходимости борьбы за новые формы. Вот почему произведения Щедрина гораздо глубже и долговечнее всяких произведений, имеющих целью опре-

деленную борьбу за конкретные требования. Самое существенное и самое ценное в Щедрине—защита самого принципа борьбы за идеалы, выяснение необходимости такой борьбы. И пока борьба за идеалы не потеряет значения в жизни человека, до тех пор не потеряют жизни сочинения Щедрина. Все временное, местное и случайное, что поглощало исключительное внимание современников, будет получать все более значение простых аксессуаров,—и все выпуклее будет с каждым новым поколением вырисовываться основная идея.

Борьба за самые отдаленные, самые светлые, самые совершенные идеалы!

Никаких уступок, никаких компромиссов! Бесполезно убеждать теоретиков обуздания! Никакой поблажки гиенству, никакой попытки приручить его! Своей определенной дорогой идите в страну идеала, исследуя, взвешивая, но не уступая и не отступая! Никаких отклонений от своего пути, ни ради «осязательных результатов», ни во имя достижения частичных целей и мнимого укрепления позиций! Вперед, вперед и вперед!

Если таковы принципы, красной нитью проходящие через все произведения Щедрина (а эти принципы именно таковы), то понятным становится, как близок, как дорог и современен должен быть Щедрин тем из нас, кто живо и страстно проникнут идеалами пролетариата,—единственно возможного в наше время борца за идеалы.

Правда, у нас есть свои признанные учителя, которые дают более конкретные указания на формы и способы принципиально выдержанной борьбы за пролетарские идеалы. Маркс Энгельс, Каутский и другие учителя международного научного социализма вскрыли конкретные формы классовых противоречий с такой полностью и точностью, какие были недоступны русскому социалисту-утописту. Кроме того, Щедрин прежде всего художник. Не дело художника давать прямые советы и указания. Его область—главным образом область исследования тех психологических надстроек, кото-

рые не определяют, правда, форм классовой борьбы, но зато одухотворяют, облекают плотью и кровью личность, через которую императивы классовой борьбы получают свое конкретное осуществление.

Психологическое исследование, облеченное в художественную форму, формулирует личность, определяет характер ее деятельности. Формирование принципиально выдержанной устойчивой личности неуклонного борца за идеалы предохранит тактику партии рабочего класса от тех уклонений и искажений, которые легко возможны в отдельные моменты под влиянием сложности и запутанности общественных отношений.

Сочинения Щедрина могут и должны сыграть не последнюю роль в деле такого формирования личности [1]).

---

1) Русские и мировые классики. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. ГИЗ. 1926. Стр. 278—291.

IV

ЩЕДРИН И ЛЕНИН

(Наброски)

I. ЩЕДРИН

Последним произведением Щедрина, откликавшимся на текущие события, был сборник статей «Мелочи жизни», написанный во второй половине восьмидесятых годов. А последний его рассказ в «Мелочах жизни» кончается признанием, что герой рассказа почти накануне смерти «чувствует, что сердце его горит, и что он пришел к цели поисков всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезе правды... Он простирает руки, ищет отклика, он жаждет итти, возглашать. И сознает, что сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди—ничего, кроме одиночества и обращенности».

Как ни смотрите на этот конец рассказа,—как на автобиографический или как на беллетристический,—выход один и тот же: к концу жизни у Щедрина происходил кризис мировоззрения. В какую сторону? Ответ легко найти в обширном «Введении» к «Мелочам жизни», написанном после самих «Мелочей». Нужно только не забывать, что середина восьмидесятых годов отличалась крайней свирепостью царской цензуры; а Щедрин был на особом положении, как явно «крамольный», «неблагонадежный» писатель. Поэтому ему приходилось всячески запутывать свою мысль.

Несколько раньше, в сказке «Приключение с Крамольниковым» уже намечались нотки освобождения от недавнего

прошлого. Крамольников укоряет себя: «Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли в глубь и погибали, а ты слал им вслед сочувствие». Но это было пленное раздражение мыслей,—раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение».

Журнал Щедрина «Отечественные записки» в течение многих лет был по содержанию легальным органом революционного народничества. Но народником можно считать Щедрина только с большими оговорками. В чем же было расхождение и как оно выразилось в «Мелочах»? —

Народничество отрицательно относилось к возможности самостоятельного пролетарского движения и даже не признавало возможности капиталистического развития в России. Статьи под инициалами Р. В. (т. е. Воронцова) печатались в «Отечественных записках», и марксистам прежде всего приходилось опровергать Воронцова.

Ленину еще во второй половине девяностых годов пришлось указывать, что народники стараются представить дело так, будто признавать историческую прогрессивность капитализма—значит быть защитником капитализма. Народники затушевывали разложение крестьянства и образование класса наемных рабочих и т. д. (см. Ленин, т. III, изд. 1926 г., стр. 466, вверху). В полемике против марксистов народники уверяли, будто признание прогрессивности капитализма обязывало марксистов строить кабаки и всячески обдирать крестьянство.

На чью же сторону стал Щедрин под конец жизни? «Период помещичьего закрепощения канул в вечность. Наступил период закрепощения чумазовского»,—говорит Щедрин во «Введении».—А кто такой Чумазый.—Он имел фабрику в уездном городе, а ко времени отмены крепостного права начинал раскидывать сети на всю Россию, т. е. становился крупным капиталистом. Это поясняет автор в середине «Введения», а раньше и позже пишет слово «чумазый» с маленькой буквы. Он называет чумазым и крупного капиталиста, действующего через кучу агентов, и де-

ревенского кулака. И те и другие обманывают крестьянина, прижимают во время сбора податей, и, в конце концов, разоряют и закабаляют его. Словом, Щедрин рисует картину так называемого периода первоначального накопления,—того периода, когда капитализм не столько создает новые товарные ценности, сколько грабит мелкого производителя и разоряет страну.

Об этом периоде, в котором пришлось жить Щедрину, Ленин, между прочим, говорит в статье «Что такое друзья народа» (т. I, стр. 205, изд. 1926 г.), а также в статье «Л. Н. Толстой». Но в то время как народники доказывали невозможность капитализма в России и советовали марксистам записаться в число «рыцарей первоначального накопления», Щедрин в «Мелочах жизни» констатирует, что капиталист-чумазый «идет и даже уже пришел», и что сдается, «что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества». Но, в конце концов, несмотря на разорение и нищету, массы «найдут новые источники существования, так, что в общем изменение произойдет д а ж е к л у ч ш е м у. Но ведь эти десятки лет надо прожить».

Народники возлагали свои надежды на «народ», в частности, на общинное землевладение. Интересно проследить, как относился к вопросу об общине Щедрин. В «Письмах о провинции» (письмо восьмое) он признает общину ярмом на шее крестьянина. Это было в самом конце 60-х годов. Началось народническое движение, и единственная уступка, которую делает Щедрин,—это предоставить решить вопрос об общине самим крестьянам. Да и то Щедрин говорит не от себя, а влагает эту мысль в речь Глумова («Помпадуры и помпадурши», рассказ «Зиждитель»). В 1880 г. Щедрин опять в «За рубежом», в главе первой, прорывается гневным окриком по адресу народников, становясь на сторону Фр. Энгельса в его споре с Ткачевым. Он кончает так:

— И еще говорят: «В России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины

и наделен участком земли». Но при этом забывают мещан и дворовых; обеспечение наделом не охранило мужика от Колупаева. «Вместо того, чтобы уверять всуе, что вопрос о распределении уже разрешен нами на практике, мне кажется, приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопийственного процесса, которому они предаются. Почему? Каким образом? И в особенности — с чьею помощью? Вот если это «с чьей помощью» как следует выяснить, тогда сам собой разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает: общинников или Колупаевых?.. А то выдумали... мы, того гляди, политическую экономию совсем упраздним. Так и упразднили... упразднители!»

Подчеркиваю, это было написано за несколько лет до образования «Группы освобождения труда». Плеханов и прочие продолжали еще 15 месяцев издавать народнический «Черный передел».

После закрытия «Отечественных записок», в девятом «Пестром письме» Щедрин указывает, что «западники», ставши ближе к «кормилу», примирились с общиной. И, наконец, в «Мелочах жизни», во «Введении» и статье «Мироеды» Щедрин окончательно устанавливает, что прославленная народниками община только служила кулакам для порабощения слабых членов крестьянского общества.

Во второй половине «Введения» Щедрин останавливается подробно на значении масс и их настроениях и переходит к «подземным ключам» на Западе: «Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается всеми». Каково же отношение к этой «трудной поре» автора?

Тут мы имеем случай наблюдать манеру Щедрина для обхода свирепости цензуры. Предварительно он устанавливает ошибки утопистов, критикует Фурье, но критикует так, что не остается сомнения, что сам Щедрин является

социалистом, освободившимся от утопий. После этого Щедрин, без риска ввести читателей в заблуждение, смело ставит вопрос не о способствовании международному рабочему движению, а о том, «что делать, чтобы устранить грядущую смуту» и, наконец, на последней странице убеждает читателя (т. е. цензора) не бояться требований ни парижских рабочих, ни, тем более, появления такого же движения среди русских рабочих.

А все «Введение» в целом вызывает, именно желание видеть такое движение в России.

Не может быть сомнения, что Щедрин читал и полемику Фр. Энгельса с Ткачевым, и первые брошюры «Группы освобождения труда». И если бы он дожил до выступления Н. Михайловского против марксистов и до ответа ему Ленина, то он не был бы на стороне Михайловского.

В начале статьи я говорил о «кризисе» у Щедрина. А может быть, это был не кризис, а возврат к исконным его идеям в духе марксизма? Может быть, еще в 1849 г., в рассказе «Брусин»[1], в речах Николая Ивановича можно видеть отражение «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, а в «Благонамеренных речах» — отражение «происхождения семьи, частной собственности и государства» Фр. Энгельса? Поискать,— вероятно, найдешь и другое. Недаром К. Маркс интересовался Щедриным...

II. ЛЕНИН И ЩЕДРИН

Чтобы узнать, как относился Ленин к Щедрину, естественно обратиться прежде всего к «словарю-указателю имен», прилагаемому к каждому тому собрания сочинений Ленина. Если вы будете, однако, руководствоваться этим словарем, то мало узнаете.

---

1) Том XII, изд. 1923 г. Полезно сопоставить Николая Ивановича с рассказом „в. Бурмакин" в том же томе.

В третьем томе даются в словаре наиболее полные сведения о Щедрине и оценка его значения. Там, между прочим, сказано:

«Салтыков резко-отрицательно относился к крепостничеству, к господству дворянства, к бюрократии, к консерваторам и либералам всех толков. Гнет царской цензуры заставил его выковать особенный стиль,— стиль едкой сатиры, слегка замаскированной. В произведениях Салтыкова мы находим не обличение дурных чиновников и общественных деятелей, а правдивую художественную картину среды, создающей их. Маркс высоко ценил Салтыкова и прочел много его вещей на русском языке. Упоминаемые в настоящем томе очерки «Мелочи жизни» (1884—1889 гг.) содержат тончайшие замечания насчет экономических процессов, происходящих в пореформенной деревне (особенно см.: «Хозяйственный мужичок», «Мироеды», «Портной Гришка» и др.).»

Не стану разбирать, насколько точны и глубоки указания словаря. Обращаюсь, руководствуясь им, к первому тому, к первой большей статье Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократии». В словаре указана только страница 162, относящаяся к этой статье. Там читаем по поводу «лакейского бесстыдства» некоторых статей народников Михайловского и Кривенко:

«Нельзя не вспомнить по этому поводу так метко описанную Щедриным историю эволюции российского либерала. Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности», продолжает тем, что клянчит — «ну, хоть что-нибудь» и кончает вечной и незыблемой позицией «применительно к подлости». Ну, как не сказать в самом деле про «друзей народа», что они заняли эту вечную и незыблемую позицию?!.

Добавлю, что рассказ «Либерал», напечатанный в «Сказках», кончается тем, что в лицо этому либералу полетел плевок. Эта «сказка» навсегда, казалось бы, должна была отбить у либералов охоту считать Щедрина «своим». По

существу же появление этого плевка в либералов не могло быть неожиданностью. Достаточно вспомнить, что говорил Щедрин, например, в «Итогах», печатавшихся десятилетием раньше в средине 70-х годов .Тогда либералы называли «себя «пропрессистами». Щедрин о них писал: «Это народ очень загадочный, совмещающий с чувствительностью души и слезливостью в голосе непреодолимую страсть к куску. Они постоянно скорбят и постоянно выставляют себя последним убежищем, не выражая ясно, чего именно, но давая почувствовать, что его-то очень хорошего... Они рекомендуют себя: «Не обвиняйте нас! мы не все можем, чего желаем... Не будь нас, и то малое, что вы видите еще уцелевшим, погибло бы... Когда наступит удобный момент... будьте уверены..., а между тем, призовите на помощь ваше мужество...» («Итоги», гла. I). У них «начинаются бесконечные разговоры о каком-то знамени... и не менее бесконечные инсинуации насчет неблагонадежных элементов». Деятельность прогрессистов «никогда не выходила из пределов тихого курлыканья благовоспитанных каплунов» («Итоги», гл. IV).

Возвращаясь к сочинениям Ленина, нужно сказать, что «Словарь» дает лишь небольшую часть указаний на то, что говорит Ленин о Щедрине: в него вносились только те случаи, когда Ленин называл имя Щедрина. В этом легко убедиться, если просмотреть, например, ту же статью о «Друзьях народа». Приведу примеры.

Через несколько страниц после «Либерала» Ленин говорит о «культурном обществе», которое будет толковать под охраной полиции о «меньшем брате» (стр. 170). Это очевидное влияние Щедрина, который говорит в «Культурных людях» от имени культурного помещика: «Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала,— мелькнуло у меня в голове,— ободрать, да и в сторону... А потом, зарекомендовав себя благонамеренным, можно и о кон-

ституциях на досуге помечтать» («Культурные люди», гл. I).

В обоих случаях Ленин цитирует Щедрина не точно, но смысл остается щедринский. Это об'ясняется тем, что цитировано на память, тем, что слово Щедрина оказало влияние и на Ленина, что это были ходячие слова и выражения среди тогдашних революционеров. Точно так же мы найдем в других местах статьи и щедринских «помпадуров» (стр. 185, 163), и щедринский перевод французского слова «mais», по-русски — «но», а по Щедрину — «уши выше лба не растут» (стр. 68), и лицемера Иудушку, при чем напечатано это слово с маленькой буквы (примечание на стр. 186).

В первом же своем боевом выступлении против выродившегося народничества Ленин, таким образом, находил себе неизменного союзника в лице Щедрина. Находил и позже. Почему так случилось? Не потому ли, что Щедрин под конец жизни все более освобождался от уз народничества, в то время как народники во главе с Михайловским быстро скатывались к либералам. И не потому-ли у Ленина никогда не поднималась рука против Щедрина?[1].

Я не имею возможности сделать более подробный обзор тех случаев, когда Ленин использовал Щедрина для иллюстрации своих мыслей. Отмечу только «Хозяйственного мужичка» из «Мелочей жизни». В статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» Ленин упоминает о «заскорузлой трусливости» «Хозяйственного мужичка». По памяти предварительно скажу, что этот рассказ Щедрина заставил меня (и не одного меня) в восмидесятые годы очень задуматься как народовольца. Щедрин там, в конце концов, ставил вопрос: вот честный, трудолюбивый крестьянин, не кулак; но с какой стороны возможно подойти к нему для революционной пропаганды? Выходило, что ни с какой. Он безнадежен. И не только по своей трусости, а по своему положению мелкого производителя. Трусость такого же «хо-

[1]) „По крайней мере, я таких случаев не знаю".

зяйственного мужичка» Щедрин показал много раньше в лице Мосеича во второй половине рассказа «Сон в летнюю ночь» (см. «Сборник»). Возможно, что, говоря на основании воспоминаний далекого прошлого, Ленин и тут сделал мелкую ошибку, не изменяющую существа дела; тем более, он мог смешать «Мелочи жизни» со «Сборником», что в издании 1891 г. то и другое напечатано было в одном томе [1]).

---

1) „ На литературном посту", 1929 г., № 14, стр. 18—21.

В. Данилов

„Пошехонская старина“ М. Е. Салтыкова и социальная идеология автора

«Царство испуга» — так с нравственно-физической стороны характеризует Салтыков крепостное время русской жизни («Хищники»); «сермяжная эпоха», говорит он об умственном состоянии этого периода («Пошехонская старина»). Никто из художников-мемуаристов, изображавших крепостную помещичью жизнь: ни С. Т. Аксаков ни Л. Толстой, не вводит читателя так в самую гущу крепостной обыденщины, с ее испугом, сермяжностью и «сапожностью» всех человеческих отношений, как это сделал Салтыков в «Пошехонской старине», потому что у Аксакова и Толстого на первом месте стояли они сами со своими детскими переживаниями, действительными или созданными художественно-психологической интуицией; в «Пошехонской старине», наоборот, личность автора в ее прошлых переживаниях растворяется среди бытовой обстановки.

Салтыков сам говорит, что автобиографического элемента в его труде «очень мало», и не историю своего детства предпринял он написать в «Пошехонской старине»; «Главным образом я предпринял мой труд для того, чтоб восстановить характеристические черты так называемого доброго старого времени, память о котором, благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше сглаживается»[1]). С большою определенностью взгляда на свою работу, как на мемуарно-историческую, высказывается он под конец «П. С.»: «Я позволю себе думать, что в ряду прочих материалов, которыми воспользуются будущие историки русской общественности, моя хроника не окажется лишнею». (XII, 382).

[1]) Ссылки на 5-е изд. А. Ф. Маркса, т. XII, стр. 7.

Конечно, в этом сказывается еще древне-классический взгляд на историю, по которому historia narratur (рассказывается), т.-е. взгляд, как на художественное произведение, и не даром В. И. Семевский говорит о «П. С.», что в ней автор вводит читателя в среду рабства «путем личных воспоминаний и еще более гениального прозрения [2]), но тем не менее «П. С.» в целом обладает полною исторической достоверностью. В этом можно сослаться на авторитет того же Семевского, как исследователя, много поработавшего над фактическою стороною крепостного права, который признает относительно «П. С.», что «это в высокой степени талантливое произведение навсегда останется одним из лучших источников для истории дворянства и крепостного права в первой половине XIX века, и мы можем с большим доверием относиться к тем его показаниям, где идет речь о мрачных сторонах быта крепостных» [3]). К такому же заключению приходит К. К. Арсеньев, применяя мерку художественно-психологической правдивости: «Ничего не идеализируя,— говорит он о Салтыкове, как авторе «П. С.»,—он ничего не извращает, и впечатление получается тем более сильное, чем живее чувствуется его близость к истине» [4]).

Можно было бы обосновать эти мнения об исторической правдивости художественных мемуаров Салтыкова параллелями к «П. С.», извлеченными из документального материала, как это делает отчасти Семевский, но есть одна сторона, на которую писавшие об этом произведении не обратили внимания и которая лучше и ярче всего доказывает историческую достоверность «П. С.». Эта сторона — картина экономического состояния эпохи, которую нельзя выдумать, нельзя художественно изобразить со слов экономистов и статистиков. Выяснение экономических форм, отраженных Сал-

---

[2]) „Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М. Е. Салтыкова". 1905 г., стр. 70, изд. „Донская Речь".

[3]) Ibidem, 54—55.

[4]) К. Арсеньев. „Салтыков-Щедрин", в серии „Библиотека Светоча", 1906 г., 223.

тыковым непроизвольно, без поставленной цели дать именно картину экономического состояния изображаемой эпохи, имеет смысл не только для утверждения экономической правдивости «П. С», но еще больше для понимания идеологии писателя, на которую экономический базис его сословия должен был оказать известное влияние.

Прежде чем перейти к вопросу об экономических формах и отношениях, изображенных в «П. С.», необходимо точно определить хронологические рамки наблюдений автора.

Самое давнее хронологическое припоминание в «П. С.» относится к 1812 г., который, однако, фигурирует только в воспоминаниях других лиц. Следующее не обозначаемое точно хронологическое упоминание — вторая половина 20-х годов, время рождения рассказчика, т.-е. переводя упоминание в автобиографическую плоскость,— 1826 год, когда родился Салтыков. Он говорит, что в это время родители его насчитывали двенадцать лет брака, т.-е. мать его вступила в отцовский дом в 1814 году, что необходимо заметить для последующего.

За этими наиболее отдаленными хронологическими припоминаниями идет их целый ряд, падая на 30-е годы.

Мать рассказчика — Анна Павловна Затрапезная приобрела значительное оброчное имение в самом начале 30-х годов.

Изображаются споры родственников и знакомых о том, законный ли король Людовик-Филипп, что должно относиться к ближайшим временам после 1830 года, когда его вступление на престол могло быть еще не простывшею новостью.

Говорится о московских слухах про одно из покушений на Людовика-Филиппа, которые начались с 1835 года и имели место шесть раз.

Указывается на интерес среди помещиков к «кровавой путанице, происходившей в то время в Испании между карлистами и христиносами» (378). Гражданские же войны из-за престолонаследия, после смерти короля Фердинанда

VII, между его братом дон-Карлом и вдовою — регентшею Мариею Христиною, происходили с 1834 по 1839 год [1]).

Рассказывается о впечатлении, произведенном на крестьян ограничительным законом 2 мая 1833 года, запрещавшим продажу крепостных с раздроблением семейств.

Описывается успех среди помещиков выписанного Анною Павловною в 1834 году, с которого он и начал выходить, журнала «Библиотека для чтения», под редакцией Сенковского-Брамбеуса.

Предводитель дворянства Стручников изображается в самый цветущий период своего существования, падающий как раз на 30-е годы, потому что в 1858 году, когда происходили выборы в крестьянские комиссии, Струнников служил уже восьмое трехлетие (т.-е. 1858—24=1834 год.).

30-е годы — основной узел хронологических приурочений в «П. С.». За ним идут под конец произведения припоминания более позднего времени.

Говорится о 1848 г., произведшем «чуть заметное движение», и полученной предводителем дворянства, в связи с этим, бумаге от губернатора, в которой «впервые упоминалась кличка: «Социалист». Дальше рассказывается о раскрытии в Петербурге, спустя короткое время, тайного общества «злонамеренных молодых людей, которые в карты не играют, по трактирам не ходят, шпицбалов не посещают, а только книжки читают и промежду себя разговаривают» (410), т.-е. об обществе Петрашевского, раскрытом в 1849 г., в котором участвовал сам Салтыков. Наконец, еще более поздние упоминания 50 и 60-х годов фигурируют скорее как исторические моменты, а не как приурочения бытовых явлений. И количество упоминаний, относящихся к первой половине

[1]) Между прочим интерес к испанским событиям в различных слоях общества 30-х гг. отмечен в „Записках сумасшедшего" Гоголя, герой которых называет себя Фердинандом VIII, и комедией Квитки-Основьяненко „Шельменко-денщик", где изображены помещики, разделившиеся на „карлистов" и „христиносов" и доходящие из-за этого до ссоры (д. III, яв. 1).

30-х годов, и собственно-биографические соображения, потому что с 1836 года началось учение Салтыкова сначала в Московском дворянском институте, потом в Царскосельском лицее, и впечатления его уже не могли обладать тою усадебною насыщенностью, какую находим в произведении, говорят за то, что в «П. С.» мы имеем картину жизни крепостной усадьбы именно 30-х годов.

Как во всяком художественном произведении, общие картины жизни принимают в «П. С.» частный характер. Рассказчик сообщает, что Анна Павловна, вступив в управление имением мужа — Малиновцем, что должно быть отнесено, как сказано, к 1814 году, «желала добиться хоть одного: чтобы в хозяйстве существовал вес, счет и мера» (101). Приблизительно же до этого времени «малиновецкая экономия представляла верх беспорядочности. Зерно без меры принималось с гумна и без меры же ссыпалось в амбары. Никто не украдет! Все будут сыты! — говорили сестрицы (отца) и докладывали братцу, что молотьба кончилась, и сусеки доверху полны зерном. Очень возможно, что действительно воровства не существовало, но всякий брал без счета, сколько нужно или сколько хотел. К концу года оставалась в амбаре самая малость, которую почти задаром продавали местным прасолам, так как деньги считались в доме редкостью» (101). Перед нами типическая картина хозяйства «старосветских помещиков» конца XVIII и начала XIX столетий, почти что натурального, далекого от производства на рынок, потому что последний развит в очень малой степени, и денежное обращение совершается чрезвычайно медленно. Это было время, когда, как говорит о «старинных» русских хозяйствах экономист-прогрессист 30—40 годов Д. П. Шелехов, они «были крепки словом, а не письмом, счетом и мерою» («Библ. для чт.», 1835 г., т. XIII).

Резко изменилось положение помещичьего хозяйства в значительной части России уже к середине 20-х годов и особенно в 30-е годы, и крепостное хозяйство начинает перестраиваться. Так как перестройка была вызвана условиями

развития мирового хозяйства и конкуренцией России на мировом хлебном рынке с развитыми буржуазными странами, то и «крупное сельское хозяйство на крепостном труде становится все более буржуазным: в нем все большую и большую роль начинает играть капитал»[1]). Современники видели это и отдавали себе отчет в изменившихся условиях помещичьего хозяйства: «До какой степени,— писал о новом его положении Шелехов,— изменились все условия нашего быта! Потребность в наличных деньгах, т.-е. необходимость продажи сельских произведений, вопреки бережливости, с каждым годом становится ощутительнее» («Б. для ч.», 1835 г., т. VIII). Раз хозяйство приняло товарный характер, оно получило тенденцию к возможно большему производству продуктов на рынок, но никаких средств технической интенсификации производства в условиях подневольного труда не было, и потому увеличение его пошло в сторону расширения обрабатываемой площади: «Огромные капиталы земледельческой собственности — леса и нови,— отмечал Шелехов,— истреблялись в хозяйстве для добывания большего количества хлеба и сена». Отсюда среди помещиков, естественно, родилось стремление к расширению своих владений путем покупки новых имений. И. В. Сабуров говорит в 1835 году, что «капиталисты начали покупать имения», и земля вздоражала на 50 и даже на 100%[2]). Это было, следовательно, общее явление, но в художественных мемуарах Салтыкова оно приобретает индивидуальный характер, когда он пишет, что Анною Павловною «овладел дух благоприобретения». Поэтому же, когда, согласно с капиталистическим духом эпохи, заходит речь о том, как «оборотить» капитал, Анна Павловна убеждает других: «Имения, я вам скажу, очень дело выгодное! — пятнадцать — двадцать процентов шутя капитал принесет. А денежки все равно как в ломбарте лежат» (261). 15—20%

[1]) Покровский. „Ист. Рос.", V, 44.
[2]) „Московский Наблюдатель", 1835 г., ч. III.

доходности были скорее вожделенными мечтами, чем действительностью, так как при первобытной технике и сравнительно невысоких рыночных ценах на сельскохозяйственные продукты доходность имений не могла быть так высока, и Сабуров, например, говорит только о 4% доходности имений для черноземной Пензенской губернии, тогда как салтыковское «Пошехонье» — это Тверская губерния.

Кроме расширения площади, другим средством увеличения производства на рынок было усиление трудовой эксплоатации крестьян. Обычною мерою для этого был перевод их с оброка на барщину, и это считалось дворянскою агрономией 30-х годов наиболее выгодною системою, хотя идеалисты-славянофилы, в роде Самарина, сожалели, что крестьяне перестали жить своим умом. Другого исхода для борьбы крепостного хозяйства за свое существование в условиях развивающегося капитализма не было; и агроном 30-х годов Вилькинс довел заложенную в этом хозяйстве экономическую идею до логического завершения, предлагая помещикам взять крестьян «на свое содержание, завести собственную упряжь и орудия и целый год заставлять работать, разумеется, ничего не платя им за труды»[1]), т.-е. превратить крестьян в несвободный сельскохозяйственный пролетариат. Бытовые явления, соответствовавшие указанным экономическим тенденциям 30-х годов, создали у Салтыкова впечатление, что его «детство и молодые годы были свидетелями самого разгара крепостного права» (8), хотя «развивалось и ширилось не крепостное право, а крепостное хозяйство»[2]).

Салтыков приводит много фактов, характерных для этого периода развития дворянского хозяйства, когда помещик, перестав быть вотчинником-правителем, должен был превратиться исключительно в организатора производства на рынок. Некоторые помещики «буквально выжимали из бар-

---

[1]) Струве Ibidem, 97.

[2]) П. Б. Струве. „Крепостное хозяйство", 1913 г., стр. 59.

щинных крестьян последний сок, поголовно томя на господской работе мужиков и баб шесть дней в неделю и предоставляя им управляться с своими работами только по праздникам» (284). Помещик Савельцев, воспользовавшись одною из народных переписей, переписал всех своих крестьян в дворовые, отобрал от них избы, землю, скот и поселил в казарме т.-е. осуществил в общем проект Вилькинса.

Однако сельскохозяйственная дворянская мысль, главным образом, теоретическая, не ограничивалась наиболее доступными средствами увеличения доходности имений: расширением запашки и усилением «постоянного отчетливого давления на народ», как выражался Самарин, и стремилась интенсифицировать земледелие введением усовершенствованных форм организации хозяйств и обработки земли. Преимущественно агрономическая мысль останавливалась на английской плодосменной системе с введением травосеяния и с уничтожением трехполья. Шелехов, упоминаемый и Салтыковым в «П. С.», был одним из главных пропагандистов этой системы. Некоторые помещики увлекались предлагаемыми преобразованиями; но, при общей косности, сложности перехода к новым формам земледелия, при не поддававшейся прогрессу подневольной рабочей силе и зависимости земледелия от низкого уровня технических средств, попытки перейти к новым формам хозяйства не могли быть ни многочисленны, ни удачны. Правда, сами пропагандисты старались представить эти попытки в более крупных размерах, чем они были на самом деле. Шелехов, напр., говорит о «многих примерах производящегося у русских помещиков плодопеременного полеводства и вообще усовершенствованного хозяйства» («Б. для ч.», 1835 г., т. VIII); он видит среди помещиков «повсюду порывы к улучшению», сообщает, что они «более и более делают опыты», и возглашает: «Мы стоим на черте перехода» («Б. для ч.», 1834 г., I т.).

Перехода, как известно, не последовало, и Салтыков был гораздо более правдив и точен, когда представлял в «П. С.» дело в следующем виде. Под влиянием статей Шелехова в

«Библиотеке для чтения» «выискались две-три личности—из молодых, которые пробовали делать опыты, но из них ничего путного не вышло. Причина неудач, конечно, прежде всего заключалась в круглом невежестве экспериментаторов, но отчасти и в отсутствии терпения и устойчивости, составляющем характеристическую черту полуобразованности. Представлялось, что результат должен притти сейчас же, немедленно, а так как он не приходил по желанию, то неудача сопровождалась потоком ничего не стоящих ругательств, и охота к производству опытов столь же легко пропадала, как и приходила» (377).

Товарное производство на рынок и сбыт—вот интересы, которым была подчинена жизнь помещичьей усадьбы и среди которых воспитывался Салтыков. Помещичьи разговоры «обыкновенно вращались около средств наживы и сопряженных с нею разнообразнейших средств объегоривания» (31). С оброчными крестьянами у Анны Павловны идет разговор «деловой: о торгах, о подрядах, о ценах на товары» (156). Ее собственные дела, которым она отводила утра, торговые: она «запродавала хлеб, тальки, полотна и прочие произведения» (28). Выработке этих произведений подчинен порядок жизни в усадьбе. Так как крестьяне, по определению крепостной экономии, представляли «капитал орудий», то, в целях увеличения производства, было необходимо, чтобы орудия работали исправно, без перебоев: «С девки,—рассказывает, напр., Салтыков,—всегда спрашивали больше, нежели с замужней женщины: и лишняя талька пряжи, и лишний вершок кружева, и т. д. Поэтому был прямой расчет, чтобы девичье целомудрие не нарушалось» (37).

Несмотря на сословную исключительность дворянства, торговые интересы объединяют его с оброчным торгующим крестьянством. Матушка Никанора Затрапезного «льнула к капиталу и была очень ласкова с заболотскими богатеями» (156). Она делала это не только «по природе», как об'ясняет рассказчик, т.-е. вследствие своего купеческого происхождения, а именно из-за однородности интересов: ведь она давала

им деньги для оборотов, «конечно, за высокие проценты» (156). Поэтому и детей она «охотно отпускала в гости к заболотским богатеям» (286), и оттого рассказчик «знал только быт оброчных крестьян, да и то довольно поверхностно» (286); сношения же с работающими крестьянами считались, говорит Салтыков, «неприличными»: детям в праздники «и на поселок ходить запрещали» (286). Среди заболотских торговцев-крестьян Анна Павловна «не приказывала, не горячилась, а только «рекомендовала», никого не звала презрительными уменьшительными именами и совсем забывала, что на свете существует ручная расправа» (139), т. е. буржуазные отношения, как и всюду в Европе, смягчали суровость крепостных нравов.

Меркантильный характер накапливающегося помещичьего хозяйства вызывал ту «алчность будущего» (14), которая приводит в недоумение Салтыкова, когда он рисует заготовление массы домашних припасов и скопидомство в их потреблении. Это—скопидомство, характерное для домостроевского уклада жизни, созданного тоже торговым капиталом.

Наконец, в атмосфере торгового капитала совершенно исчезает старая феодальная дворянская идеология, делающаяся даже в покоях предводителя дворянства только материалом буффонады. Если пролог должен соответствовать драме и наоборот, то «комедиям», которые представлял перед предводителем Струнниковым побирающийся дворянин Петрушкин и в которых он изображал нравы окрестных помещиков, предшествовал пролог, выражавший старую дворянскую рыцарскую идеологию. На вопрос Струнникова, что есть дворянин, Петрушкин отвечал: «Дворянин есть имя общее, знаменитое. Дворянином называется всякий потомственный слуга престол-отечества... Дворянин должен подавать пример прочим. Он обязан быть почтителен к старшим, вежлив с равными и снисходителен к низшим» (398) и пр. Очевидно, этот кодекс рыцарских правил сам по себе вызывал комическое впечатление и сменялся, как равноценный

им, «несколькими вопросами и ответами непечатного свойства», после чего начинались уже «настоящие комедии». С такою потерянною идеологией Струнникову нравственно не трудно было сделаться за границею «человеком из ресторана», чем он закончил свое жизненное поприще.

Эту потерянную идеологию надо принять во внимание при определении направления общественных идей Салтыкова. Ясно, что из среды «торгующего дворянства» нельзя было вынести специфически-дворянских идей, в смысле «потомственного служения». С другой стороны, нельзя было вынести идеологии, отвечающей собственно интересам торгового капитала, как выносили из своей среды Дикие и Кабановы, потому что производство и торговля держались в дворянстве средней руки, только благодаря его привилегии на даровой труд, а не благодаря капиталу и уменью обращаться с ним.

Поэтому к дворянству у Салтыкова отрицательное отношение, вытекающее прежде всего из сознания экономической слабости сословия. «Старинный поместный элемент, говорит он в «П. С.», оказался не настолько сильным и приготовленным, чтобы удержать за собой главенство даже в таком существенном для него вопросе, как аграрный» (377). Экономическая слабость, в соединении с сословною привилегированностью, повлияла на выработку отрицательных форм нравственного сознания и быта в дворянстве: «Помещик,—пишет Салтыков в «Пестрых письмах»,—ни к чему не приготовленный, ленивый и обеспеченный, способен был только питаться надеждами и зря бросать деньги». Так обстояло дело уже после освобождения, но не активнее и не упорнее в своей жизни было среднее и мелкое дворянство и в период наибольших сословных привилегий при крепостном праве: «Не честолюбивый, смирный народ был,—характеризует свою среду Салтыков в «П. С.»,—ни в высь, ни в ширь, ни по сторонам не заглядывался. Рылся около себя, как крот, причины причин не доискивался, ничем, что происходило за деревенской околицей, не интересовался, и

сжели жилось тепло да сытно, то был доволен и собой и своим жребием» (376).

Есть, конечно, громадное различие между отрицательным отношением к дворянству Салтыкова, вышедшего из дворянской же среды, и, напр., Глеба Успенского, вышедшего из разночинцев. Для последнего дворяне,—«грибы на крепостной куче» (II, 272) [1]), люди страдающие «расслаблением мозга, вялостью, упадком всех сил, болезненными нервными припадками» (IV, 11); их грубость и произвол характеризуют их, как людей «нетрезвых и неумелых» (IV, 10). Глеб Успенский враждебен дворянству в такой же мере, как его герой Михаил Иванович, кричащий мужикам: «Вли в лаптях в хоромы... Утрафьте прямо с корытами, да онучами... Хетектуру эту барскую без внимания». (I, 324). Салтыков не примирен с дворянством, но и не озлоблен против него, и язвы дворянской жизни старается объяснить не сословными пороками, а «невидимою силою» (XII, 76), тяготевшею надо всеми, которая «одинаково втягивала все сословия в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов, лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленными» (XII, 8). Он видит эту силу, по отношению к которой даже крепостническое дворянство было, в его глазах, страдательным, в бюрократии. Это—наследственно-историческая точка зрения средне- и мелко-дворянских кругов, не расположенных к высшей бюрократии—сановникам, державшим в своих руках государственную власть. «Жизнь того времени,—говорит Салтыков в «П. С.»,—представляла собой запертую храмину, ключ к которой был отдан в бесконтрольное заведывание табели о рангах, и последняя настолько ревниво оберегала ее от сторонних вторжений, что самое понятие о «реальности» как бы исчезало из общественного сознания» (XII, 454). Против этой силы и была главным образом направлена сатира Салтыкова. Он нападал на «табель о рангах», конечно, не как дворянин, а как гражданин, но определенное неприязненное восприятие ее писателем было под-

[1]) Цит. по изд. А. Ф. Маркса.

готовлено классовыми отношениями, воспитанными еще в период «пошехонской старины», в малиновецких усадьбах и на зимних московских квартирах дворян средней руки, которым был закрыт доступ на масленичный «folle journée» (безумный день) к главнокомандующему (XII, 248).

Нерасположение к высшей дворянской бюрократии — одна из сторон идеологии Салтыкова, которую следует связать с его средою. С нею связаны также первоначальные моменты в развитии общественных идей Салтыкова.

Жизнь дворянской среды, средней и мелкой, под властью торгового капитала, при условии застывшей земледельческой техники и под давлением «невидимой силы», принимала характер каждодневно-механического процесса, в котором люди не являлись деятелями, а пассивными частями механизма: «Печальное существование,—говорит Салтыков в «П. С.»,—в котором жизненный процесс равносилен непрерывающейся невзгоде, но еще печальнее жизнь, в которой сами живущие как бы не принимают никакого участия» (XII, 21). В условиях такой жизни «человек всецело погружается в призрачный мир им самим созданных фантасмагорий, а жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни одной из своих реальных услад» (21). В другом месте «П. С.» Салтыков говорит, что его воспитание проходило «в отчуждении от всего живого» (154). Когда умственный инвентарь человека не обладает достаточным количеством реальных представлений, поставленных в связь одно с другим, которые могли бы дать основу его миросозерцанию, приведенная в движение мысль начинает создавать его на основании малого и всегда случайного количества представлений, восполняя недостаток связи между ними нереальными представлениями, что создает фантастическое направление ума, или отдаленными от реальной действительности, слишком отвлеченными представлениями, что дает безжизненность миросозерцания. Так в школьной обстановке слабо развитые дети подыскивают к представлениям не самые ближайшие родовые понятия, а всегда самые отдаленные.

Этим объясняется, в связи с общественными условиями, русский идеализм 30—40-х гг. и увлечение утопическим социализмом в 40-е годы. Оба течения одинаково захватили Салтыкова в молодые годы, и он вспоминал впоследствии о них с признательностью. «Как ни оторван был от жизни идеализм сороковых годов,—говорит он в «П. С.»,—но лично своим адептам он доставлял поистине сладкие минуты. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев переполнялось блаженством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтобы хоть шепотом кто-нибудь произнес: sursum corda! [1])—и не дождется» (XII, 456).

В. И. Семевский и П. Н. Сакулин [2]) рассмотрели подробно вопрос об отношении Салтыкова к утопическому социализму. Он не вспомнил о нем в «П. С.», потому что никакой связи и не могло быть между идеями Сен-Симона или Фурье и «пошехонским» бытом, хотя о кружке Петрашевского упомянул, как о беспокойном известии, нарушавшем дворянскую идиллию. Но в написанных за семь лет до «П. С.» очерках «За рубежом» Салтыков теплым словом вспоминает увлечение идеями утопического социализма «безвестного кружка», который, по его словам, «инстинктивно прилепился» к ним (VIII, 122), т.-е., именно так, как это должно было произойти у людей, не обладавших реальным отношением к действительности. С ростом жизненного опыта и большею зрелостью мысли первоначальные идейные увлечения Салтыкова прошли, но от них остался литературно-общественный радикализм, за которым, однако, нельзя было рассмотреть какой-либо определенной программы, что делало его сатиру бесцельною, напр., в глазах Писарева.

От «пошехонских» лет Салтыков наследовал также известный характер отношений к крестьянству. В «пошехон-

[1]) Выше сердца!

[2]) В. Семевский. „М. Е. Салтыков-петрашевец". „Русские Записки", 1917 г., № 1, 21—50. П. Н. Сакулин. „Русская литература и социализм", ч. I, 1922 г., 358—382.

скую старину» у помещичьих детей не только не было какой-либо связи с крестьянином, но они с ранних пор воспитывали в себе эксплоататорские убеждения: «Дети,—пишет Салтыков,—не сочувствуют мужичку и признают за ним только право терпеть обиду, а не роптать на нее. Напротив, поступки мамаши по отношению к крестьянам встречают их безусловное одобрение» (62). Впоследствии, под влиянием идей и жизни, крепостнические настроения исчезли, но не возникло и того отношения к крестьянству, которое характеризует народничество в его главном литературном представителе Глебе Успенском. После 1861 года Салтыков высказывал такие мысли: «Тупа философия, косноязычна риторика... без мужика» («Круглый год»)[1]; или «на поселке настоящий пуп земли, там разгадка всех жизненных задач, там ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего» («Дворянская хандра»). Эти мысли выражают лишь необходимое признание крестьянского вопроса кардинальным для земледельческой страны, но это не народническая идеология, строящая на крестьянине философию не одной общественной, а также личной жизни, как это было у Глеба Успенского, народнические построения которого воспринимались Салтыковым отрицательно: «Успенский совсем с пути сбился,—писал он Н. К. Михайловскому в 1884 г.,—такую философию заковыривает, что чертям тошно»[2].

Если Салтыков не верил в дворянство, но и не придавал всеисцеляющего общественного значения крестьянству, то на каком классе он строил свою идеологию? К буржуазии, в западно-европейском смысле, Салтыков относился с отрицанием, и немало едких страниц посвящено им в очерках «За рубежом» изображению французского буржуа, создавшего «республику без республиканцев» (V, II, 175), «республику спроса и предложения, республику накопления богатств и блестящих торговых балансов» (V, II, 167). Но формы за-

[1]) Пародирование слов Ломоносова из его „Российской грамматики": „Тупа оратория, косноязычна поэзия... без грамматики".

[2]) „Письма", изд. 1925 г., стр. 247.

падно-европейской жизни как общественной, так и политической, по сравнению с такими же формами в России, представляют такие несомненные достоинства, что он безусловно признает их и принимает: «Везде,—говорит Салтыков,—мальчик в штанах, а у нас без штанов; везде изобилие, а у нас—не белы снеги; везде резон, а у нас — фюить! Везде люди настоящие слова говорят, а мы и поднесь на эзоповских придчах сидим; везде люди заправскою жизнью живут, а у нас приспособляются» (VIII, 181). Даже выходя из палаты депутатов после речи Клемансо об амнистии коммунарам с отрицательным впечатлением и о самой речи, и обо всей обстановке палатского заседания, Салтыков все-таки «не мог воздержаться, чтобы не воскликнуть: «вот кабы у нас так!» (VIII, 143).

Но так как признаваемые Салтыковым культурные формы западно-европейской жизни созданы буржуазией, а последнюю он трактовал очень полестно, то, очевидно, не на «сытых буржуа», не на буржуа-вивёре» (VIII, 175) мечтал он обосновать эти культурные формы. Салтыков думал в этом случае о «среднем культурном русском человеке». «Под русскими культурными людьми я разумею не русских дамочек, не русских бонапартистов, равным образом я не стану говорить ни о действующих сановниках, ни о сановниках опальных. Я говорю о среднем культурном русском человеке, о литераторе, адвокате, чиновнике, художнике, купце, то-есть о людях, которых прямо или косвенно уже коснулся луч мысли, которые до известной степени свыклись с идеей о труде и которые три четверти года живут под напоминанием о местах не столь отдаленных» (VIII, 46).

У русского культурного человека «желание знать, как живет русский деревенский человек» (VII, 47); «желание поделиться с ним некоторыми небесполезными сведениями, которые повысили бы его умственный и нравственный уровень» (ibidem); у него «свойство пользоваться трудом мужика, не пытаясь обсчитать его»; «поприща, на которых культурный человек может принести наибольшую пользу»,

это—«народная школа, народное здоровье, занятие сельским хозяйством» (VIII, 62).

Так как в группу средних культурных русских людей входили дворяне средней руки, к которым принадлежал сам Салтыков, и люди, вышедшие из духовенства и купечества, т.-е. разночинцы, то ясно, что в своих мыслях о создании новых культурных форм он намечал опору на бессословную интеллигенцию. Это понятно для него, как человека, воспитанного не столько в сословных традициях, осмеянных в хоромах предводителя дворянства, сколько в атмосфере бессословного денежного оборота и торговли, ставших в 30 и 40 годы основами средне-дворянской экономики и жизни. С этой же стороны понятно, что в группу средних культурных русских людей Салтыков зачислил и купца[1].

---

[1]) „Родной язык в школе", 1927 г., сборник первый, стр. 95—107.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

I. ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

1841 г.

«Лира» (стихотворение). «Библиотека для Чтения», т. XLV, кн. 4, стр. 105 — 106.

1842 г.

«Две жизни» (стихотворение). Там же, т. L, кн. 1, стр. 10.

1844 г.

«Наш век» (отрывок из стихотворения). «Современник», т. XXXIV, стр. 231.

«Весна» (из моих отрывков). Там же, т. XXXIV, стр. 340.

«Рыбачке» (из Гейне). Там же, т. XXXV, стр. 100.

«Из Байрона» («Разбит мой талисман...»). Там же, т. XXXV, стр. 105.

1845 г.

«Зимняя элегия». «Современник», т. XXXVII, стр. 119 — 120.

«Вечер». Там же, т. XXXVII, стр. 377.

«Музыка». Там же, т. XXXIX, стр. 212.

«Из Байрона» («Когда печаль моя...»). Там же, т. XXXIX, стр. 306.

1847 г.

«Противоречия». «Отечественные Записки», ноябрь, т. 55, ч. 1, стр. 1 — 106. (Подписано М. Непанов).

1848 г.

«Запутанное дело». «Отечеств. Записки», т. 57, кн. 3.

1856 г.

Губернские очерки:

1) Вместо введения. «Русск. Вестн.», т. IV.
2) Прошлые времена. Август, кн. II, стр. 709.
3) Неумелые.
4) Прошлые времена.
5) Выгодная женитьба. Там же, т. V, сентябрь, кн. 2, стр. 242.
6) Порфирий Петрович.
7) В остроге.
8) Мечты и надежды на станции. Там же, т. V, октябрь, кн. 2, стр. 681.
9) Княжна Анна Львовна.
10) Скука. Мысли вслух.
11) Старец. Там же, т. VI, ноябрь, кн. 2, стр. 271.
12) Еще прошлые времена.
13) Что такое коммерция?
14) Владимир Константин. Буеракин. Там же, т. VI, декабрь, кн. 2, стр. 401.
15) В остроге.
16) Аринушка.
17) Народные праздники. Там же, т. VI, декабрь, кн. 2, стр. 577.
18) Приятное семейство.
19) Дорога.

Историческое предание и описание праздника «свистопляски» в Вятке. «С.-Петербургские Ведомости», № 127.

1857 г.

Губернские очерки.

Первый шаг. Озорники. «Русский Вестник», т. VII, январь, кн. 1, стр. 129.

Надорванные.

Матушка Марья Кузьмовна. Там же, т. VIII, апрель, кн. 2, стр. 509.

Талантливая натура. Там же, т. IX, июнь, кн. 1, стр. 366.

Корепанов. Лузгин. Там же, т. X, июль, кн. 2, стр. 219.

Богомольцы, странники, проезжие. Там же, т. X, август, кн. 1.

Просители. Провинциальные сцены. «Библиотека для чтения», т. 143, № 5.

Приезд Ревизора. «Русский Вестник», кн. 2.

Смерть Пазухина. Комедия в четырех действиях. Там же, кн. 19, № 11.

«Жених», картина провинциальных нравов. «Современник», кн. 10.

Губернские очерки. Спб., т. III, часть 1.

Вместо введения. Прошлые времена. Мои знакомцы. Драматия: сцены и монологи. Часть II.

Праздники. Юродивые. В остроге. Казусные обстоятельства. Часть III.

Просители. Талантливыя натуры. Богомольцы, странники и проезжие.

Губернские очерки. 2-е издание. Спб. 2 т.т.

1858 г.

Губернские честолюбцы:

Утро у Хрептюгина. Драм. очерк (из «Невинных рассказов»). «Библиотека для чтения», кн. 2.

Святочный рассказ, из путевых заметок чиновника. «Арней», часть I, № 5.

Два отрывка из книги об умирающих. «Русский Вестник», кн. 6.

Яшенька, повесть. «Сборник литер. статей, посвящен. русскими литераторами памяти А. Ф. Смирдина», т. VI.

1859.

Развеселое житье, рассказ. «Современник», кн. 2.

Из книги об умирающих:
1) Генерал Зубатов. «Московский Вестник», № 3.
2) Гегемониев. Там же № 15.
Погребенные за-живо. Там же № 46.

1860 г.

Скрежет зубовный. «Современник», кн. 1.
Наш дружеский хлам. Там же, кн. 8.
Литераторы-обыватели. «Современник», кн. 2.
Клевета. Там же, кн. 10.
Наши глуповские дела. Там же, кн. 11.

1862 г.

«К читателю», прозаическая сатира. «Современник», кн. 2.
Недавние комедии: «Время», кн. IV.
1) Соглашение.
2) Погоня за счастием.
3) Погребенные за-живо.
Наш губернский день. Там же, кн. IX.

1863 г.

Невинные рассказы: «Современник», кн. 1—2, стр. 161—208.
1) Деревенская тишь.
2) Для детского возраста.
3) Миша и Ваня.
Несколько слов по поводу заметки, помещен. в октябр. книге «Русского Вестника» за 1862 год. (Подпись Т-н). Там же, кн. 1—2, стр. 1—16.
Разбор восьми книг (без подписи). Там же, кн. 1—2, стр. 111—146.
Московские письма. (Подпись К. Гурин). Там же, кн. 1—2, стр. 163—176.
Петербургские театры. Там же, кн. 1—2, стр. 177—198.

1863 г.

Наша общественная жизнь (без подписи). «Современник», кн. 1 — 2, стр. 357 — 376.

После обеда в гостях. Там же, кн. 3, стр. 162 — 174.

Московские письма II. (К. Гурин). Там же, кн. 3, стр. 12 — 22.

«Несколько полемических предположений». Из письма в редакцию. Там же, стр. 1 — 10.

Разбор книги Быстротокова «Анафема или торжество православия» (без подписи). Там же, кн. 3, стр. 128 — 130.

Наша общественная жизнь (без подписи). Там же, кн. 3, стр. 175 — 202.

Разборы трех книг (без подписей). Там же, кн. 4, стр. 285 — 306.

«Свисток». Там же, кн. 4, стр. 12 — 54, 71 — 72, 81 — 82, 87 — 88.

Наша общественная жизнь (без подписи). Там же, кн. 4, стр. 375 — 402.

Наша общественная жизнь (без подписи). Там же, кн. 5, стр. 219 — 258.

«Как кому угодно». Рассказы, сцены, размышления, афоризмы. Там же, кн. 8, стр. 567 — 610.

В деревне (без подписи). Там же, кн. 8, стр. 173 — 198.

«Прощаюсь, ангел мой, с тобою». Провинциальный романс в действии. Там же, кн. 9, стр. 292 — 311.

1863 г.

Наша общественная жизнь (без подписи). «Русский Вестник», кн. 9, стр. 127 — 148.

Петербургские театры (без подписи). Там же, кн. 11, стр. 90 — 106.

(Отзыв о «Горькой Судьбине» Писемского).

Наша общественная жизнь (без подписи). Там же, кн. 11, стр. 138 — 164.

То же. Там же, кн. 12, стр. 197 — 242.

Разборы двух книг (без подписи). Там же, кн. 12, стр. 243 — 253.

1864 г.

«Здравствуй, милая, хорошая моя!». «Современник», кн. 1, стр. 42 — 64.

Провинциальный романс в действии.

Наша общественная жизнь (без подписи). Там же, кн. 1, стр. 17 — 48.

Разборы трех книг (без подписи). Там же, кн. 1, стр. 79—85.

1864 г.

Наша общественная жизнь (без подписи). «Современник», кн. 2, стр. 17 — 48.

Разборы двух книг (без подписи). Там же, кн. 3, стр. 260—271, 289 — 290.

«На заре ты ее не буди». Романс. Там же, кн. 3, стр. 189—224.

Наша общественная жизнь (без подписи). Там же, кн. 3, стр. 27 — 62.

Разборы четырех книг (без подписи). Там же, кн. 4, стр. 255 261 и 266 267.

Литературные мелочи (без подписи). Там же, кн. 5, стр. 1 — 26.

1864 г.

Разбор комедии Ф. Устрялова «Чужая вина» (без подписи). «Современник», кн. 5, стр. 57 — 59.

«Она еще едва умеет лепетать!». Там же, кн. 8, стр. 343—368.

Разбор поэмы Мюссе «Ролла» (без подписи). Там же, кн. 8, стр. 201 — 270.

Разбор романа К. Н. Леонтьева «В своем краю» (без подписи). Там же, кн. 10, стр. 177 — 183.

Письмо в редакцию. Там же, кн. 12, стр. 176.

Губернские очерки. 3-е изд. Спб. 2 т.т.

1866 г.

Завещание моим детям. «Современник», т. 112, кн. 1, стр. 167 — 184.

1868 г.

«Новый Нарциз или влюбленный в себя». Рассказ. «Отечественные Записки», т. 176, кн. 1, стр. 131 — 146.

«Старый кот на покое». Рассказ. Там же, т. 176, кн. 2, стр. 355 — 372.

«Письма из провинции». Там же, т. 176 № 2, стр. 354—366; т. 177, № 4, стр. 266 — 272; т. 178, № 5, стр. 156—166; т. 180, № 9, стр. 98 — 124; № 10, стр. 277 — 292.

1868 г.

«Признаки времени». Периодические размышления: «Отечественные Записки», т. 179, № 8, стр. 190 — 208.

1) Литература и общество. Литература не оправдала доверия. Высшие интересы. Цезаря и Катоны.

2) Несколько слов о нашем savoir vivre и о мерах к распространению его. Там же, т. 181, № 11, стр. 175 — 188.

«Легковесные». Картины в натуральную величину. Там же, т. 180, кн. 9, стр. 283 — 300.

«Старая помпадурша». Рассказ. Там же, т. 181, кн. 11, стр. 99 — 119.

1869 г.

История одного города. «Отечественные Записки», т. 182, № 1, стр. 279 — 318.

«Признаки времени». Там же, т. 182, № 1, стр. 204 — 219.

Для детей: 1) Повесть о том, как мужик двух генера-

лов прокормил. Там же, т. 182, № 2, стр. 519 — 617; т. 183, № 3, стр. 123 — 140.

2) Пропала совесть.

3) Годовщина.

4) Дикий помещик.

5) Добрая душа.

Письма из провинции. Там же, т. 183, № 3, стр. 189—220, т. 185, № 8, стр. 438 — 462; т. 187, № 11, стр. 142 — 163.

Испорченные дети. «Отечественные Записки», т. 186, кн. 9, стр. 273 — 310.

«Господа Ташкентцы», из воспоминаний одного просветителя. Там же, т. 186, кн. 10, стр. 435 — 454.

Что такое ташкентцы? Там же, т. 187, № 11, стр. 187 — 207.

Признаки времени и письма из провинции. Спб.

1870 г.

История одного города. «Отечественные Записки», т. 188, кн. 1, стр. 1 — 32, кн. 2, стр. 369 — 390, кн. 3, стр. 203—227, кн. 4, стр. 553 — 582; т. 192, кн. 9, стр. 99 — 138.

Письма из провинции. Там же, кн. 3, 4 и 9.

Митрофаны. Продолжение «Господ Ташкентцев». Там же, т. 193, № 11, стр. 233 — 248.

«История одного города». Спб. Изд. 1-е и 2-е.

1871 г.

«Единственный». Утопия. «Отечественные Записки», т. 194, кн. 1, стр. 273 — 292.

Сомневающийся. Там же, т. 196, кн. 5, стр. 177 — 196.

Ташкентцы приготовительного класса. Там же, т. 198, кн. 9, стр. 173 — 207, т. 199, № 11, стр. 247 — 290.

1872 г.

Дневник провинциала в Петербурге. «Отечественные Записки», кн. 1 — 6, 8, 10 — 12.

Ташкентцы приготовительного класса. Там же, т. 200, кн. 1, стр. 243 — 296; т. 204, № 9, стр. 1 — 60.

Благонамеренные речи: Там же, т. 204, № 10.

1) Из путевых заметок.

«Признаки времени и письма из провинции». Спб. 2-е изд. (дополненное).

1873 г.

Благонамеренные речи: «Отечественные Записки», т. 206, кн. 1.

2) По части женского вопроса.

3) К читателю. Там же, т. 207, кн. 4.

4) Опять я в дороге. Там же, т. 210, кн. 10.

5) Переписка. Там же, т. 211, кн. 12.

«В больнице для умалишенных». Продолжение дневника провинциала в Петербурге. Там же, т. 206, кн. 2, стр. 344 — 376; т. 207, кн. 4, стр. 293 — 316.

Он!.. Картины провинциальных нравов. Там же, т. 207, кн. 3, стр. 1 — 30.

Помпадур борьбы или проказы будущего. Там же, т. 210, кн. 9, стр. 57 — 92.

Мнения знатных иностранцев о помпадурах. Там же, т. 211, кн. 11, стр. 145 — 170.

Между делом. Заметки, очерки, рассказы. Там же, т. 211, кн. 11.

«Дневник провинциала в Петербурге». Спб.

1873 г.

«Помпадуры и помпадурши». Спб.

«Господа ташкентцы». Спб.

1874 г.

«Благонамеренные речи»: 6) Столп. 7) Продолжение той же материи: кандидат в столпы. 8) В дружеском кругу. 9) Охранители. 10) Еще переписка. «Отечественные Записки», кн. 1 — 3, 9, 10.

Зиждитель. Там же, т. 213, кн. 4.

Экскурсии в область умеренности и аккуратности. Там же, кн. 9 — 11.

Между делом. Заметки, очерки, рассказы. Там же, кн. 11.

Город. Сборник «Складчина», Спб.

1875 г.

Благонамеренные речи: «Отечественные Записки», кн. 1, 3, 4, 10 — 12.

11) Кузина Машенька.
12) Отец и сын.
13) Превращение.
14) Семейный суд.
15) Непочтительный Коронат.
16) По родственному.

Сон в летнюю ночь. Там же, т. 221, № 8, стр. 381 — 416.

Между делом. Заметки, очерки и рассказы. Там же, т. 222, № 9, стр. 129 — 152; № 10, стр. 129 — 152.

1876 г.

Благонамеренные речи: «Отечественные Записки», кн. 3 — 6.

17) Семейные итоги.
18) В погоню за идеалами.
19) Перед выморочностью.
20) Привет.

Культурные люди. Там же, т. 226, кн. 1, стр. 119 — 158.

Выморочный. Там же, т. 227, кн. 8, стр. 521 — 558.

Экскурсии в область умеренности и аккуратности. Там же кн. 9 — 10.

День прошел — и слава богу! Там же, т. 229, кн. 11, стр. 257 — 280.

Семейные радости. Там же, т. 229, кн. 12, стр. 483 — 512.

Благонамеренные речи. Спб. 2 тт.

1877 г.

Дети Москвы. «Отечеств. Записки», кн. 1, стр. 181.
Современная идиллия. Там же, кн. 2, стр. 513, кн. 3, стр. 513, кн. 4, стр. 627.
Тряпичкины — очевидцы. Там же, кн. 8, стр. 533.
На досуге. Там же, кн. 9, стр. 165; кн. 10, стр. 435.
Дворянские мелодии. «Отечеств. Записки», кн. 11, стр. 259.

1878 г.

Дворянская хандра. «Отечеств. Записки», кн. 1, стр. 285—313.
Современная идиллия продолжение. Там же, кн. 3, стр. 225; кн. 4, стр. 517.
Убежище Монрепо. Общий обзор. Там же, кн. 8, стр. 461.
Похороны. Там же, кн. 9, стр. 215.
«Сказки и рассказы». Спб.
В среде умеренности и аккуратности. Спб.
Избранные сочинения Щедрина (Губернские очерки. История одного города. Господа Ташкентцы. Помпадуры и помпадурши). «Русская Библиотека», том VIII.

1879 г.

Больное место. «Отечеств. Записки», кн. 1, стр. 297.
Убежище Монрепо: Там же, кн. 2, стр. 569, кн. 8, стр. 489, кн. 9, стр. 211, кн. 11, стр. 261.
2) Тревоги и радости в Монрепо. 3) Монрепо — усыпальница. 4) Finis Монрепо. 5) Предостережения.
Старческое горе, или непредвиденные последствия заблуждений ума Там же, кн. 5, стр. 213.

1879 г.

Круглый год. «Отечеств. Записки», кн. 2, 3, 8 — 12.
История одного города. Спб., 3-е издание.
Помпадуры и помпадурши. Спб. 2-е издание.

1880 г.

Игрушечного дела людишки. «Отечеств. Записки», кн. 1, стр. 251.

Не весьма давно. Осенние воспоминания. Там же, кн. 4, стр. 551.

Решение. Последний эпизод из Головлевской хроники. Там же, кн. 5.

За рубежом. Там же, кн. 9 — 10.

Чужой толк. Там же, кн. 12, стр. 267.

Круглый год. Спб.

Господа Головлевы. Спб.

Благонамеренные речи. Спб. 2-е издан., 2 тт.

1881 г.

«За рубежом», окончание. «Отечеств. Записки», кн. 1, 2, 5, 6.

Письма к тетеньке. Там же, кн. 7, 8, 11, 12.

За рубежом. Спб.

Сборник рассказов, очерков и сказок. Спб.

Невинные рассказы. Спб. 2-е издание.

1881 г.

Сатиры в прозе. Спб. 2-ое издание.

Дневник провинциала в Петербурге. Спб. 2-ое издание.

Господа ташкентцы. Спб. 2-ое издание.

В среде умеренности и аккуратности. Спб. 2-ое дополненное издание.

1882 г.

Письма к тетеньке. «Отечеств. Записки, кн. 1 — 5.

Современная идиллия, продолжение. Там же, кн. 9, 10, 12.

Убежище Монрепо. Спб.

Письма к тетеньке. Спб.

Признаки времени и письма из провинции. Спб. 3-е издание.

Помпадуры и помпадурши. Спб. 3-е издание.
Губернские очерки. Спб. 4-е издание.

1883 г.

Современная идиллия, окончание. «Отечеств. Записки», кн. 1 и 5.
Пошехонские рассказы. Там же, кн. 8—12.
Современная идиллия. Спб.
История одного города. Спб. 4-ое издание.
Убежище Монрепо. Спб. 2-ое издание.
Круглый год. Спб. 2-ое издание.
Господа Головлевы. Спб. 2-ое издание.
Благонамеренные речи. Спб. 3-е издание.
Сборник. Рассказы, очерки, сказки. Спб. 2-ое издание.

1884 г.

Сказки: Карась-идеалист. Сборник, издан. общ.
Добродетели и пороки. Для пособия нуждающимся литераторам и ученым.
Обманщик-газетчик и легковерный читатель XXV лет.
Сказки: Самоотверженный заяц. Бедный волк. Премудрый пискарь. «Отечеств. Записки» кн. 1.
Пестрые письма. «Вестник Европы» кн. 11 и 12.
Недоконченные беседы (Между делом). Спб.

1885 г.

Пестрые письма, продолж. «Вестник Европы» кн. 1—4, 6.
Неумытый Трезор, сказка. «Неделя», кн. 2.
Дурак, сказка. «Русск. ведомости» № 41.
Пошехонские рассказы. Спб.
Невинные рассказы. Спб. 3-е издание.

1885 г.

Сатиры в прозе. Спб. 3-е издание.
В среде умеренности и аккуратности. Спб. 3-е издание.

Господа Ташкентцы. Спб. 3-е издание.
Дневник провинциала в Спб. Спб. 3-е издание.

1886 г.

Пестрые письма. «Вестник Европы», кн. 9—10.
Мелочи жизни. «Русск. ведомости» № 238.
То же: На лоне природы и сельско-хозяйственных ухищрений. Хозяйственный мужичек. Сельский священник. Помещик. «Вестник Европы», кн. 11—12.
Двадцать три сказки. Спб.
Пестрыя письма. Спб.
Помпадуры и помпадурши. Спб. 4-е издание.

1887 г.

Мелочи жизни: Портной Гришка. Ангелочек. Христова невеста. Сельская учительница. Адвокат. Земский деятель. Праздношатающийся. Имярек. «Вестник Европы», кн. 1—4.

1887 г.

Счастливец. Этюд. «Вестник Европы», кн. 6.
Полковницкая дочь. «Неделя», кн. 2.
Пошехонская старина: Жизнь и приключения Никанора Затрапезного. «Вестник Европы», кн. 10—12.
Двадцать три сказки, с приложением Рождественской сказки. Спб. 2-е издание.

1888 г.

Пошехонская старина, продолжение. «Вестник Европы», кн. 3, 4, 9—12.
Заметки о М. В. Буташевиче-Петрашевском. «Русская Старина», кн. 11.

1889 г.

Ворон-челобитчик, (сказка). Сборн. памяти: В. М. Гаршина. Спб.

Пошехонская старина, (окончание). «Вестник Европы», кн. 1—3.

Брусин, (рассказ). Там же, кн. 5.

Последняя страница. Там же, кн. 6.

1889 — 1890 гг.

Сочинения М. Е. Салтыкова, (Н. Щедрина). Изд., автора, 9 томов. Спб.

1891 — 1892 гг.

Полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) с приложением материалов для биографии (К. К. Арсеньева), портретом автора, его факсимиле и видом могильного памятника. Издание наследников автора. 12 т.т. Спб.

1894 — 1895 гг.

Тоже. 3-е издание, 12 т.т. Спб., (перепечатано без перемен со 2-го издания).

1900 — 1901 гг.

Тоже. 4-ое издание, А. Маркса. 12 т.т. Спб. (Перепечатано без перемен с предыдущего издания).

1905 — 1906 гг.

Тоже. Приложение к «Ниве», в 20 т.

1918 г.

Полное собрание сочинений 12 т.т. Изд. Литер. Изд., Отдела КНП. П.

Помпадуры и помпадурши. Изд. то же. П.

1919 г.

Господа Головлевы. Изд. Ладыжникова, Берлин.

1922 г.

«Богатырь». (Новая сказка М. Е. Салтыкова, сообщил А. Грузинский). «Красный Архив», № 2, стр. 3.

1923 г.

Избр. сочинения в 2 т.т. Ред., вступительная статья и примечания А. Амфитеатрова. Изд., Гржебина, Берлин.

Сказки (1880—1885 гг.). «Новая Москва», М.

«Глуповское распутство». Отрывок из непропущенного цензурой очерка приложенного к книге А. Гизетти. Сатирик-гражданин М. Салтыков, Изд., С. Нонина. П.

1924 г.

«Иудушка Головлев». (Новая страница Салтыкова). Сообщил Н. Яковлев. «Жизнь Искусства», № 1, стр. 12—13.

1925 г.

Сказки тт. 1 и 2. Изд., «Пламя». Прага.

1925 г.

Избранные сочинения, кн. 1. Изд. «Прибой» Л.

Рассказы, Сказки.

Очерк жизни и творчества, А. Свентицкого.

То же, кн. 2, Рассказы: Господа Ташкентцы. Палач, Столп, Превращение. Л.

1926 г.

Избр. отрывки из сочинений. (Редакция К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. Биогр. очерк и примечание Иванова-Разумника). ГИ. Л.

Сочинения т. 1. (Ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума). Вступительная статья Иванова-Разумника. Гиз. Л.

То же, т. 2. Л.

Сказки, Редакция и вступительная статья Л. П. Гроссмана. Госуд. Изд. М.

История одного города. Вступ. статья Л. Гроссмана. Редакция В. Гиппиуса. Гиз. Нижний-Новгород.

«Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного

человека». (Неизд. произведение с примечаниями Н. Яковлева). «Звезда», кн. 2, стр. 5—9.

1926 г.

«Карась-идеалист». Зиф. «Библиотека Сатиры и Юмора». Л.

«Чижиково горе». Рассказы. Зиф. «Библиотека Сатиры и Юмора». Л.

«Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». Зиф. «Библиотека Сатиры и Юмора». Л.

«Глупов и глуповцы». (Неизданная глава, с предисловием и послесловием Н. Яковлева). «Красная Новь», кн. 5, стр. 112 — 121.

«Господа Ташкентцы». (Из воспоминаний одного просветителя), со вступительной заметкой Н. Яковлева. «Звезда», кн. 1, стр. 189 — 210.

«Карась-идеалист». Изд. «Украинский Рабочий», Харьков.

«Премудрый пискарь» и др. сказки. Изд. «Прибой», Л.

«Сказки» (1880 — 1885). Изд. «Новая Москва». М.

«История одного города». (Вступительная статья Л. Гроссмана, Редакция, В. Гиппиуса). Гиз. М. — Л.

1926 г.

«Былые времена». Рассказы. Зиф. «Рабоче-Крестьянская Библиотека». Л.

«Из истории города Глупова». Рассказы. Зиф. «Рабоче-Крестьянская Библиотека». Л.

«Непочтительный Коронат». «Чудинов». Рассказы. (Редакция К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. Критико-биографическая статья, примечания и библиография, Н. В. Яковлева). Гиз. Л.

«Отец и сын». (Редакция К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. Критико-биографическая статья, примечания и библиография, Н. В. Яковлева). Гиз. Л.

«Портной Гришка». Гиз. Л.

«Развеселое житье». Гиз. Л.

«Рассказ под'ячего». Гиз. М.

«Сказки». Гиз. Л. (дешевое издание).

«Тетенька Анфиса Порфирьевна». Гиз. Л. (дешевое издание).

«День в помещичьей усадьбе». Рассказ. «Крестьянская Библиотека», изд. «Пролетарий», Харьков.

«Миша и Ваня». (Затравленные) Рассказ. «Крестьянская Библиотека», изд. «Пролетарий», Харьков.

«Прошлые времена». Рассказ под'ячего. «Крестьянская Библиотека», изд. «Пролетарий», Харьков.

1926 — 1928 гг.

«Собраний сочинений», в шести томах. Комментарии, примечания и библиография, сост. Р. В. Ивановым-Разумником. Гиз.

II. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О М. Е. САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ

А. Евг. Черты из жизни М. Е. Салтыкова. («Солнце России», 1914 г., № 219).

Александров, А. Материалы для биографии Салтыкова-Щедрина, («Русский Библиофил» 1915 г., № 8, стр. 73—87).

Алексеев, В. Салтыков в Вятке («Исторический Вестник», 1907 г., № 11, стр. 600—9).

Арсеньев, К. Материалы для биографии Салтыкова. («Вестник Европы», 1890 г., № 1, стр. 319—351 и № 2, стр. 782—824 и Полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина том 1, стр. 3—82, изд. А. Ф. Маркса, 1905 г.).

Арсеньев, К. Салтыков-Щедрин, М. Е. «Энциклопедический Словарь», изд. Брокгауза и Эфрона, т. XXVIII, стр. 150—6).

Арсеньев, К. Салтыков в памяти его современников, («Вестник Европы», 1914 г., № 5, стр. 7).

Белоголовый, Н. Воспоминания (Спб. 2-е издание 1901 г., стр. 225—90).

Бурцев, В. К биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина (Берлин, журн. «На чужой стороне», 1925 г., октябрь, стр. 121—134).

Ветринский, Ч. Салтыков и Успенский, («Голос Минувшего», 1914 г., № 5, стр. 7).

Гайдуков, В. М. Е. Салтыков, как администратор («Русская Мысль», 1914 г., № 6).

Герасимов А. Н. Щедрин и студенчество. (Из прошлого) «Молодая Гвардия» 1926 г., кн. 3, стр. 204 — 12.

Дризен, Н. Салтыков в Рязани (1858 — 60 г.г.; 1863 — 67 г.г.) «Исторический Вестник № 2, 1900 г., стр. 598 — 622 и отд. изд. Спб. 1900 г.

Евгеньев — Максимов, В. Из журнальной деятельности М. Е. Салтыкова — Щедрина. (К столетию со дня рождения) «Печать и Революция» 1926 г., кн. 1, стр. 39 — 58.

Евгеньев-Максимов, В. Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков, («Печать и Революция», 1927 г., кн. 4, стр. 47—62).

Елисеев, Г. Некрасов и Салтыков («Русское Богатство», 1893 г., № 9, стр. 59—69).

Емельянов, Вл. Ссылка Салтыкова в Вятку и его освобождение (1848—56 гг.). («Русская старина», 1909 г., № 10, стр. 107—23).

Жуковская, Е. Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове, («Исторический Вестник», 1915 г., № 3, стр. 13).

И. М. Салтыков в Туле (Из воспоминаний сослуживца), «Исторический Вестник», 1902 г., № 1.

Кауфман, А. Оклеветанный сатирик («Русское Слово», 1914 г., № 4, стр. 6).

Колпенский, В. М. Е. Салтыков-Щедрин и общестуденческий союз. (Начало 80-х годов). «Русское Прошлое», 1923 г., апрель, № 6.

Краних фельд, Вл. Романическая глава из автобиографии М. Е. Салтыкова. («Солнце России», 1914 года, № 219.).

Кривенко, С. М. Е. Салтыков. Его жизнь и литературная деятельность. (Изд. 3-е, Спб. 1915 г.)

Кузнецов, Н. Воспоминания о Салтыкове-Щедрине (64—69 гг.). («Исторический Вестник» 1908 г., № 12, стр. 976—86).

Лемке, М. К биографии Салтыкова. (По неизданным материалам.) «Русская Мысль», № 1, 1906 г., стр. 30—38.

Лясковский, А. М. Е. Салтыков в ссылке (в Вят-

ке). Берлин, журн. «Историк и Современник», 1922 г., март, стр. 249—278.

Лясковский, А. Новое о М. Е. Салтыкове (о служебной деятельности Салтыкова), Берлин, журн. «Беседа», 1924 г., май, стр. 245—264.

Мендельсон, Н. М. М. Е. Салтыков-Щедрин. («Критико-биографическая серия», Гиз, 1925 г.).

Михайловский, Н. Литературные воспоминания («Русская Мысль», 1891 г., № 6 или «Лит. воспом. и современ. смута», том I, стр. 85—98).

Михайловский, Н. Памяти Салтыкова-Щедрина («Русское Богатство», 1889 г., № 6, стр. 155 — 169, или Собрание Сочинений, т. VII).

Михайловский, Н. По поводу статьи Сементковского о Салтыкове. («Русская мысль», 1892 г., № 5, стр. 141—159).

Николаев, А. М. Е. Салтыков-Щедрин и цензура, (80-е годы) «Красный Архив», 1922 г., № 2.

Оболенский, В. М. Е. Салтыков в своей семье. (Париж, журнал «Современные Записки», 1921 год, июнь, стр. 81—91).

Озеров, Н. Салтыков в Вятке. (Вятка, 1903 г.).

Оксман, Ю. Несостоявшийся журнал М. Е. Салтыкова-Щедрина «Русская Правда», («Красный Архив», 1923 г., апрель, стр. 393—398).

Пантелеев, Л. Из воспоминаний прошлого, том II, (Спб. 1908 г.).

Пантелеев, Л. «Христова ночь», М. Е. Салтыкова. (По воспоминаниям) «Солнце России», 1914 г., № 219.

Полянский, Вал. Салтыков в своих письмах («Вопросы современ. критики». Гиз, М. 1927 г., стр. 318—31, Первоначальн. в сб. «Воинствующий Материалист», 1925 г., № 4).

Путинцев, А. М. Неизданные письма М. Е. Салтыкова-Щедрина к беллетристу Г. И. Недетовскому (О. Забытому), «Известия Отдела Русского Языка и Словесности

Российской Академии Наук», 1927 г., вып. XXX, стр. 271—84.

Пыпин, А. Русский биографический словарь, (Спб., 1904 г., стр. 87—100).

Репейников, Ф. Культурная тоска. (Письма М. Е. Салтыкова-Щедрина), Прага, журн. «Воля России», 1925 г., № 3, стр. 171—176.

Розенберг, В. М. Салтыков в Ницце. (Из неизданной переписки М. Е. Салтыкова с Н. А. Белоголовым). («Голос Минувшего», 1913 г., № 1, стр. 8).

Розенберг, В. Конец Отечественных Записок. (Из переписки М. Салтыкова с Н. Белоголовым). («Русское Богатство», 1913 г., № 3, стр. 23).

Розенберг, В. Журналисты безвременья. (Москва. Изд. «Задруга», 1917 г., стр. 35—198).

Розенберг, В. Салтыков-Щедрин. (По поводу писем Салтыкова-Щедрина за 1875—1899 г.г., Гиз, Л., 1924 г.), Берлин, журнал «На чужой стороне», 1925 г., № 12, стр. 208—219.

Салтыков, К. Интимный Щедрин. (Воспоминания сына), Гиз. М. 1923 г.

Салтыков, К. Как жил и работал Салтыков-Щедрин («Огонек», 1926 г., № 3).

Салтыков-Щедрин, М. Автобиографическое письмо к С. Венгерову. (Сборник «Путь-дорога». Спб, 1893 г. Перепечатано в газете «Русские Ведомости», 1893 г., № 208).

Салтыков-Щедрин, М. Автобиографические заметки 1874 и 1887 г.г. («Русская Старина», 1889 г., № 6).

Письма. (Сборник «В память Юрьева». М. 1891 г., стр. 270 и 282—292).

Салтыков-Щедрин, М. Семь писем. («Новь», 1889 г., № 13, стр. 49—54).

Салтыков-Щедрин, М. Два письма к К. Д. Кавелину. («Русская Мысль», 1895 г., № 2, стр. 230—232).

Салтыков-Щедрин, М. Письма к доктору Н. А. Белоголовому. («Русские Ведомости», 1894 г., ноябрь; сбор-

ник «Братская помощь». М. 1898 г. и сборник «Дело». М., 1898 г., стр. 115—123).

Салтыков-Щедрин, М. Письма к И. С. Тургеневу. (Сборник «Памяти Белинского». М., 1899 г., стр. 382—384).

Салтыков-Щедрин, М. Шесть писем к В. П. Безобразову. («Новое Время», 1900 г., № 8879).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Записки к А. Плещееву. («Петербургский Дневник Театрала», 1905 г., № 15—16).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма к Чернышевскому. («Былое», 1906 г., № 2).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма к Достоевским («Минувшие Годы», 1908 г., № 1).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма к Гольцеву. (Сборник «Памяти Гольцева». М. 1910 г.).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма к А. Жемчужникову. («Русская Мысль», 1913 г., № 4, стр. 10).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма к Г. Елисееву. («Заветы», 1914 г., № 4).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Из дневника. («Солнце России», 1914 г., № 219).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Три неизданных письма к Некрасову. (1876 г.). «Книга и Революция», 1921 г., № 12—14.

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма к В. П. Безобразову. (1858—1859), с предисловием Н. Бродского («Голос Минувшего», 1922 г., кн. 2).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма. («Из архива Достоевского». Редакция и вступление Н. К. Пиксанова. Комментарии Н. Ф. Бельчикова и Н. К. Пиксанова. Гиз. М. 1923 г.).

Салтыков-Щедрин, М. Е. Письма 1845—1889 г.г. С приложением писем к нему и других материалов. Под редакцией Н. В. Яковлева, при участии Б. Л. Модзалевского. (Труды Пушкинского Дома, при Росс. Академ. Наук. Гиз, Л. 1924 г.).

Сильчевский, Д. Мои встречи с Салтыковым Щедриным. («День», 1914 г., № 113).

Скабалланович, Е. К биограф. М. Е. Салтыкова-Щедрина. (Тула, 1915 г. из Трудов Уч. Арх. Ком., т. II, стр. 255—62).

Скабичевский, А. Салтыков, как человек и писатель. (Приложение к «Ниве», 1904 г., № 11, стр. 431—78; 1904 г., № 1,2, стр. 597—636).

Спасская, Л. Салтыков. Опыт характеристики по воспоминаниям своих родственников и автобиографическим сочинениям Салтыкова. (Памятная книжка, Вятской губ., на 1908 г., стр. 77—118 и отд. изд.).

Чуковский, К. Евгеньев-Максимов, В., ред. Щедринский сборник (Неизданные рассказы, письма и др.).

Энгельгардт, Н. Давние эпизоды (А. П. Энгельгардт и Салтыков-Щедрин). («Исторический Вестник», 1911 г., № 4, стр. 27).

Яковлев, Н. Письма Щедрина. (По данным, хранящимся в Пушкинском Доме), «Борьба Классов», 1924 г., № 1—2, стр. 208—227.

Яковлев, Н. Стасюлевич и его современники. (Спб., 1912 г., том 3, стр. 255—557 и др.).

Яковлев, Н. Салтыков сотрудник газеты. («Русские Ведомости». 1910 г. №№ 29, 40, 87, и 91).

III. МАРКСИСТСКАЯ КРИТИКА О ТВОРЧЕСТВЕ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Берлин, П. А. Буржуазия в русской художественной литературе (Гончаров, Островский, Успенский, Щедрин, Горький) «Новая Жизнь», 1913 г., № 1, стр. 169 — 196.

Богданович, А. И. Критические заметки («М. Е. Салтыков» — Пыпина, Горький «Фома Гордеев». («Мир Божий», 1899 г., № 9, стр. 59 — 70). (Подпись: А. Б.).

Богданович, А. И. Критические заметки (Боборыкин, Михайловский, Некрасов, Щедрин, Елисеев, Жемчужников). («Мир Божий», 1900 г., № 3, стр. 4 — 16). (Подпись А. Б.).

Войтоловский, Л. Н. Эпоха гневного обличения. (К 20-ти летней годовщине смерти М. Е. Салтыкова) «Киевская Мысль», 1909 г., № 116, 28-го апреля.

Войтоловский, Л. Н. Глуповское распутство. Неизданный очерк М. Е. Салтыкова «Сатиры в прозе» («Киевская Мысль», 1910 г., № 64, 5-го марта).

Войтоловский, Л. Н. Крепостное право в нашей художественной литературе (Пушкин, Гоголь, Григорович, Тургенев, М. Вовчек, Л. Толстой, Салтыков, Некрасов) «Киевская Мысль», 1911 г., № 50, 19-го февраля.

Войтоловский Л. Н. Летучие наброски. «Забытый смех», сборник 1. Составил А. Амфитеатров. («Киевская Мысль, 1914 г., № 117, 29-го апреля).

Войтоловский, Л. Н. М. Е. Салтыков-Щедрин. К столетию со дня рождения («Новый Мир», 1926 г., № 1, стр. 130 — 138).

Войтоловский, Л. Н. Очерки истории русской литературы XIX и XX веков. Часть I. (Издание третье, исправленное. Гиз. М.-Л. 1928 г., стр. 212 — 221).

Гроссман-Рощин, И. С. На грани двух миров. (К характеристике творчества Салтыкова-Щедрина). «Октябрь», 1926 г., № 9, стр. 113 — 128.

Гроссман-Рощин, И. С. Тоже. («Художник и эпоха», Гиз., 1928 г., стр. 13 — 46).

Данилов, В. «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова и социальная идеология автора. («Родной язык в школе», 1927 г., книга 1, стр. 95 — 107).

Евгеньев-Максимов, В. Е. В тисках реакции. (К столетию рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина). Гиз. 1926 г.

Евгеньев-Максимов, В. Е. Памяти Салтыкова-Щедрина. («Красная газета», вечерний выпуск, 10 мая, 1929 г.).

Ефремин, А. Щедрин — сатирик. (1889 г. — 1829 г.). «Известия», от 10 мая 1929 г.

Ефремин, А. Мастер бичующей сатиры. (К сороковой годовщине смерти Михаила Евграфовича Салтыкова) «Комсомольская Правда», от 25 мая 1929 г.

Заславский, Д. Учитель великой ненависти. («Правда», от 12 мая 1929 г.).

Коган, П. С. Салтыков-Щедрин. («Известия ЦИК и ВЦИК», 1926 г., № 22, 28-го января).

Коробка, Н. И. Опыт обзора истории русской литературы для школ и самообразования. Часть 3. Эпоха реалистического романа. (СПБ, 1907 г., стр. 302).

Кранихфельд, В. Б. М. Е. Салтыков (Щедрин). Опыт литературной характеристики («Мир Божий», 1904 г., № 4, стр. 1 — 39, № 6, стр. 60 — 96, № 7, стр. 208 — 250).

Кранихфельд, В. Б. Памятник российскому дворянству в сатирах Щедрина («Современный Мир», 1906 г., № 10. стр. 169 — 207, № 11, стр. 111 — 155).

Кранихфельд, В. Б. Десятилетие о среднем человеке. (Отношение Щедрина к основным тезисам народничества. Крестьянство, общество, буржуазия, пролетариат и интеллиген-

ция в сатирах Щедрина). «Современный Мир», 1907 г., № 11, стр. 165 — 201, № 12, стр. 87 — 126.

Кранихфельд, В. Б. Буржуазия в произведениях Щедрина. (Из готовящейся к печати книги о Салтыкове-Щедрине). «Минувшие Годы», 1908 г., № 1, стр. 187 — 220.

Кранихфельд, В. Б. В плену у буржуазии. Из литературных раскопок («Зарницы» Литер.-политич. сборник, № 2, стр. 114 — 144, Спб., 1909 г.).

Кранихфельд, В. Б. Обновленная сатира Щедрина. (Архив М. Е. Салтыкова). «Киевская Мысль», 1914 г. № 116.

Кранихфельд, В. Б. М. Е. Салтыков-Щедрин. (Опыт литературной характеристики. История одного города). «Современный Мир», 1914 г., № 4, стр. 1 — 28.

Кранихфельд, В. Б. Новая экскурсия в Головлево. (К 25-й годовщине смерти М. Е. Салтыкова). «Русское Богатство», 1914 г., № 4, стр. 38 — 52.

Кранихфельд, В. Б. Среди «ташкентцев». (К 25-й годовщине смерти М. Е. Салтыкова). «Голос Минувшего», 1914 г., № 5, стр. 5 — 27.

Кранихфельд, В. Б. Памяти М. Е. Щедрина. («Вольный Университет», 1914 г., № 9, стр. 2 — 10).

Кранихфельд, В. Б. М. Е. Салтыков. («История русской литературы XIX век», под редакц. Д. Н. Овсянико-Куликовского. Том IV, стр. 230 — 284).

Кранихфельд, В. Б. Салтыков, Михаил Евграфович. («Энциклопедический словарь», изд. «Гранат», том XXXVII, столб. 109 — 120).

Кубиков, И. Н. Великие писатели России. (Библиотека рабочего. Под общей редакц. Б. И. Горева, № 18. Изд-во «Пролетарий», 1925 г., стр. 84).

Кубиков, И. Н., М. Е. Салтыков-Щедрин. (К столетию со дня рождения). «Вестник Просвещения», 1926 г., № 1, стр. 106 — 125.

Кубиков, И. Н. Великий обличитель. (К столетию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина — 27 января 1926 г.). «Народный Учитель», 1926 г., № 1, стр. 122 — 126.

Кубиков, И. Н. Общественные классы в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. (К столетию со дня рождения писателя — 27 января, 1926 г.). «Книгоноша», 1926 г., № 3 — 4, стр. 5 — 9.

Кубиков, И. Н. М. Е. Салтыков-Щедрин. (К столетию со дня рождения). «Красная Нива», 1926 г., № 4, стр. 15—16.

Кубиков, И. Н. Рецензия на «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, ред. и вступ. статья Л. П. Гроссмана. Гиз. М.—Л. 1926 г. («Книгоноша», 1926 г., № 25, стр. 1).

Кубиков, И. Н. К. Маркс как читатель Салтыкова-Щедрина. («Книгоноша», 1926 г., № 3 — 4, стр. 9 — 11).

Луначарский, А. В. Щедрин. («Красная Нива», 1925 г., № 19).

Луначарский, А. В. М. Е. Салтыков-Щедрин. («Правда», 1926 г., № 22).

Мещеряков, Н. Л. Предисловие к книге К. М. Салтыкова. «Интимный Щедрин». (Гиз. М. — П., 1923 г., стр. 3 — 5).

Назаренко, Я. А. История русской литературы XIX века. (Изд. 7-е, Гиз., 1928 г., М. — Л.).

Неведомский, М. Зачинатели и продолжатели. Белинский, Герцен, Л. Толстой, Тургенев, Михайловский, Успенский, Салтыков, Надсон, Гаршин, Якубович, Каронин, Короленко, Чехов, Вересаев, Горький, М.-Сибиряк, Андреев, Златовратский. Поминки, характеристики, очерки по русской литературе от Белинского до наших дней. (Кн-во «Коммунист», П., 1919 г.).

Ольминский, М. С. Социалист-утопист в оценке современников. (М. Е. Салтыков). «Образование», 1906 г., № 11, стр. 15 — 52.

Ольминский, М. С. Салтыков-Щедрин. К 25-летию со дня смерти. («Путь Правды», 1914 г., № 60, от 13 апреля; № 72, от 27 апреля). (Подпись: А. Витимский).

Ольминский, М. С. Салтыков-Щедрин. (К 25-ти летию со дня его смерти). «Просвещение», 1914 г. № 5, стр. 12 — 17.

Ольминский, М. С. Щедрин. Биографический очерк. (М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. Гиз. М.—Л., 1926 г., стр. 267 — 291).

Ольминский, М. С. Предисловие к книге М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». («Земля и Фабрика», М.—Л., 1926 г., стр. 3—5).

Ольминский, М. С. О печати. (Рабочее изд-во «Прибой», Л. 1926 г., стр. 65 — 78).

Ольминский, М. С. По вопросам литературы. (Статьи 1900 — 1914 гг.). С предисл. Г. Лелевича. (Раб. изд-во «Прибой», Л. 1926 г., стр. 75 — 90).

Ольминский, М. С. Социалист-утопист в оценке современников. (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Редакция Л. П. Гроссмана. «Русские и мировые классики, под общей редакцией А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова. Гиз. 1926 г., стр. 278 — 291).

Ольминский, М. С. Предисловие к отдельным произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина в изд. «Земля и Фабрика». («Библиотека Сатиры и Юмора»): «Карась-идеалист», Л. 1926 г.; «Чижиково горе». Рассказы, Л. 1926 г.; «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», Л. 1926 г. — В том же издании («Рабоче-Крестьянская Библиотека»): «Былые времена». Рассказы, Л. 1926 г.; «Из истории города Глупова». Рассказы. Л. 1926 г.

Ольминский, М. С. Как не следует комментировать Щедрина. («На литературном посту», 1928 г., № 19, стр. 37—39).

Ольминский, М. С. Щедрин и Ленин. («На литературном посту», 1929 г., № 14, стр. 18 — 23).

Полянский, В. (П. И. Лебедев). М. Е. Салтыков-Щедрин. (25-летие со дня смерти). «Фельетон в газете» «Наше Печатное Дело», 1914 г., № 12 (от 31 мая).

Полянский, В. (П. И. Лебедев). Салтыков в своих письмах. («Воинствующий Материалист», 1925 г., кн. 4, стр. 231 — 243 и «Вопросы современной критики», Гиз, 1927 г., стр. 318 — 331).

Соловьев, Е. (Андреевич). Семидесятые годы. (М. Е. Салтыков. «Роль личности в истории». «Кающийся дворянин». «Роль личности в истории и теория прогресса». Н. Н. Златовратский, Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский. «Жизнь», 1899 г. № 2, стр. 185 — 212; № 3, стр. 265 — 290; № 4, стр. 261 — 277; № 7, стр. 261 — 283; № 8, стр. 302 — 364; № 9, стр. 255 — 294).

Соловьев, Е. (Андреевич). Очерки из истории русской литературы XIX века. (Изд. 4-е, исправленное «Новая Москва», 1923 г., стр. 439 — 460).

Ткачев, П. Н. Безобидная сатира. («В среде умеренности и аккуратности» Салтыкова). «Дело», 1878 г., № 1, стр. 1—27. (Подпись: П. Никитин).

Издания Кооперативного Издательства Писателей „НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

А. Белый Пепел. Стихи о 1905 г. . . . . 2 р. 70 к. перепл. 30 к.
„ Петербург. Роман, т. 1 . . . . 2 р. 50 к. „ 25 к.
„ „ „ т. 2. . . . . 2 р. 50 к. „ 25 к.
Бибик Рассказы. . . . . 1 р. — к.
А. Владимирова. Ливень. Стихи. . . . . 1 р. — к.
И. Вольнов. Рассказы . . . . . 1 р. — к.
В. Вольтман. Стихи. . . . . 1 р. 30 к.
Герасимов и Кириллов. Ларичес. вечер. Стихи. 1 р. — к.
С. Городецкий. Грань. Лирика. . . . . 1 р. 10 к.
М. Горький. Рассказы. . . . . 1 р. 80 к. перепл. 20 к.
С. Григорьев Лестница любви. . . . . 1 р. 25 к. „ 20 к.
„ „ Черемуха. Пов. и рассказы. 1 р. 60 к. „ 20 к.
„ „ Васса. . . . . 1 р. 70 к. „ 20 к.
Л. Гумелевский. Вторая казнь. . . . . 1 р. 90 к.
Зубакин. Медведь на бульваре. Стихи. . . — р 40 к.
М. Козырев Подземные воды. Роман. . . . 2 р. 90 к.
„ Рассказы. . . . . 2 р. — к.
Э. Левонтин. Фелука. Стихи. . . . . 1 р. 50 к.
Любавин. Лирика. . . . . — р. 50 к.
Липскеров. Карменсита . . . . . 2 р. 50 к.
„ Морская горошина . . . . . 1 р. — к.
Островер. Когда река меняет русло. Роман. 2 р. 50 к.
П. Романов. Пьеса . . . . . 1 р. 70 к.
А. Степной. Семья . . . . . 1 р. — к.
„ Записки ополченца . . . . . 2 р. — к.
Д. Сверчков. Георгий Гапон . . . . . 1 р. — к.
„ Товарищ Ильин. . . . . — р. 80 к.
С. Федорченко. Народ на войне. . . . . — р. 80 к.
„ „ Сказки . . . . . 1 р. — к.
А. Яковлев. Без берегов . . . . . 1 р. 75 к.

В печати:

В. Ардов. Туземцы. Юмористические рассказы . . . . . 1 р. 60 к.
А. Ларский. Поединок. Рассказы. . . . . 1 р. 60 к.
Т. Толстая. Рылеев . . . . . 3 р. — к.
Браун. Любовь к дальнему . . . . . 1 р. 50 к.
Никифоров. Рассказы. . . . . 1 р. 50 к.
А. Степной. Рассказы. . . . . 1 р. 50 к.

А. Веселый. Рассказы . . . . . 1 р. 50 к.
М. Шолохов. Рассказы. . . . . 1 р. 50 к.
Малышкин. Рассказы . . . . . 1 р. 50 к.

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТИКА

Л. Аксельрод. Л. Н. Толстой. . . . . 2 р. 25 к.
А. Артюшнов. Основы стиховедения . . . . — р. 85 к.
И. Белоусов. Литературная среда . . . . . 2 р. — к.
Н. Бродский. Тургенев и русск. сектанты . — р. 25 к.
И. Гливенко. Поэтич. изображен. и реальн. действительность . . . . . 1 р. 60 к., перепл. 20 к.
Гоголь и Мейерхольд. Сборник. . . . . 1 р. 20 к.
Л. Гроссман. Борьба за стиль. . . . . 2 р. — к., папка 10 к.
„ „ Достоевский на жизнен. пути. 2 р. — к., перепл. 25 к.
„ „ Собеседник Толстого. Ромэн Роллан и его творчество . . . . . 1 р. — к.
М. Цявловский. Московский пушкинист. . . 1 р. — к.
Е. Никитина и С. Шувалов. Беллетристы — современники, часть 1-я. . . . . 2 р. 25 к.
Е. Никитина и С. Шувалов. Беллетристы — современники, часть 2-я. . . . . 2 р. 50 к.
Е. Никитина и С. Шувалов. Беллетристы — современники, часть 3-я. . . . . 3 р. 25 к.
Е. Никитина и С. Шувалов. Поэтическ. искусство Блока. . . . . 2 р. — к.
О. Блок. Сборник . . . . . 2 р. 70 к., перепл. 25 к.
И. Розанов. Литературные репутации. . . 1 р. 40 к.
„ Русские лирики . . . . . 1 р. 20 к.
П. Сакулин. Некрасов Н. А. . . . . — р. 70 к.
Н. Пиксанов. Творческая история. . . . . 2 р. 75 к.
М. Телешев. Все проходит. Из литературн. воспоминаний. . . . . 1 р. 25 к.
Б. Шейдлин. Москва в пословицах и поговорках . . . . . — р. 75 к.
С. Шувалов. Семь поэтов . . . . . 2 р. — к.

В печати:

Сборник памяти **П. Н. Сакулина**. . . . . 3 р. 50 к.
Е. Никитина. В мастерской художественной прозы, т. I. . . . . 1 р. 80 к.
Е. Никитина. В мастерской художественной прозы, т. II. . . . . 2 р. 50 к.
Альвинг. Стиховедение. . . . . — р. 50 к.
Е. Никитина и С Шувалов Беллетристы-современники, т. 4-й. . . . . 2 р. 50 к.

СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ

Серия критическая. Состоит из произведений марксистской критики, посвященной творчеству следующих писателей;

1. **А. Бибика** . . . ц. 1 р. 40 к.
2. **И. Вольнова**. . . . „ 1 р. 40 к.
3. **Л. Сейфуллиной**. . „ 1 р. 40 к.
4. **Н. Ляшко**. . . . . 1 р. 40 к.
5. **А. Новикова-Прибоя**. 1 р. 60 к.

В печати:

А. Веселый . . . . ц. 1 р. 25 к.
Малышкин. . . . . „ 1 р. 50 к.
Л. Леонов . . . . . „ 1 р. 60 к.
А. Серафимович . . „ 1 р. 70 к.
Д. Бедный. . . . . „ 1 р. 90 к.
Ф. Гладков. . . . . „ 1 р. 60 к.
Вс. Иванов. . . . ц. 1 р. 50 к.
А. Неверов. . . . . „ 1 р. 90 к.
П. Романов. . . . . „ 1 р. 80 к.
М. Шолохов . . . . „ 1 р. 50 к.
Никифоров. . . . . „ 1 р. 50 к.

Избранные произведения марксистской критики, посвященной творчеству классиков русской литературы.

В. Короленко . . . . . 2 р. — к.
Г. Успенского. . . . . 2 р. — к.
А. Островского . . . . 1 р. 90 к.

В печати:

Н. Некрасов. . . . . 1 р. 80 к.
А. Пушкин. . . . . 1 р. 80 к.
И.Тургенев. . . . . 1 р. 60 к.
В. Гаршин. . . . . — р. 90 к.
М. Салтыков-Щедрин . 1 р. 80 к.
А. Грибоедов . . . . 1 р. 20 к.
Ф. Достоевский . . 1 р. 80 к.
А. Чехов. . . . . 1 р. 70 к.
Н. Гоголь . . . . . 1 р. 50 к.
Л. Толстой. . . . . 1 р. 70 к.
М. Лермонтов . . . 1 р. — к.
И. Гончаров . . . . 1 р. 80 к.
А. Кольцов и И. Никитин. 1 р. 50 к.

В печати:

Д. Н. Овсяннико-Куликовский . . . . . 2 р. 25 к.
И. Старцев. Библиография детской книги . . . . . 4 р. — к.
Крижановский. Поэтика заглавий. . . . . — р. 50 к.
И. Брихничев. Книга в жизни великих людей . . . . . 1 р. — к.

Книги, находящиеся в печати, выйдут в свет в январе, феврале и марте месяце.

Заказы направлять: Москва, ул. Герцена, 24, Кооперативному Издательству Писателей „НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“.

Цена 1 р. 80 к.

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“
Москва, улица Герцена, дом № 24. Телефон 4-64-17.